

ГЕОРГИЙ БАЖЕНОВ

НЕТ ЖИЗНИ ДРУГ БЕЗ
ДРУГА (СБОРНИК)

Георгий Баженов

**Нет жизни друг без
друга (сборник)**

«Баженов Георгий Викторович»

2008

ББК 84(2РосРус)6

Баженов Г. В.

Нет жизни друг без друга (сборник) / Г. В. Баженов — «Баженов
Георгий Викторович», 2008

ISBN 978-5-7117-0028-9

Книгу Георгия Баженова «Нет жизни друг без друга» составляют лучшие произведения автора, написанные за тридцать пять лет работы в литературе. Все они – о добре, о совести, о счастье, о семье, о любви, о верности, о дружбе, о жертвенности и самоотречении героев во имя главного – человечности и духовности нашей жизни. Читайте и наслаждайтесь, дорогие друзья.

ББК 84(2РосРус)6

ISBN 978-5-7117-0028-9

© Баженов Г. В., 2008

© Баженов Георгий Викторович, 2008

Содержание

Метаморфозы	5
Вариации на тему любви	50
I	50
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Георгий Баженов

Нет жизни друг без друга. Лучшее

Виктору Баутину и его супруге Лидии Ивановне
Автор

Метаморфозы

*Мы или делаем себя жалкими, или делаем себя сильными –
затраты души одни и те же.*
Карлос Кастанеда

Евграфов умер неожиданной смертью: в чужой квартире, в постели любовницы, от сердечного приступа.

Было мнение: Евграфова доконала Жан-Жанна. Шутка ли, на двадцать один год моложе старика. Евграфов любил жизнь, любил женщин, но ухитрился делать свои дела так, что невозможно было понять: есть у него женщины или нет. Улыбнется только, усмехнется – и все.

И вот – умер.

Однажды к жене Евграфова, прямо на улице, подошел незнакомый мужчина.

– Извините, ради бога, Екатерина Марковна, – начал он, запинаясь, – я, собственно, хотел извиниться...

Жена Евграфова не терпела уличных разговоров, а тут, услышав свое имя и отчество от незнакомого мужчины, просто испугалась.

– Простите, но... кто вы? Что вам нужно?

– Я – муж Жан-Жанны. – Он опустил голову.

– Ах, вон что! – Екатерина Марковна вспыхнула – от стыда, унижения, а еще больше – от нелепости ситуации. И быстро-быстро засемила прочь от мужчины.

Он не стал догонять ее. Просто стоял, переминаясь с ноги на ногу, и с тоской смотрел ей вслед.

Через неделю в квартире Екатерины Марковны раздался телефонный звонок. Жена Евграфова подняла трубку.

– Простите, Екатерина Марковна, что вновь беспокою вас. Это – муж Жан-Жанны.

– Слушаю, – холодно произнесла Екатерина Марковна.

– Дело в том, что у нас остались некоторые вещи вашего мужа...

– Можете выбросить их.

– Видите ли, в «дипломате», среди прочих вещей, есть запечатанный конверт.

– Меня не интересуют его письма.

– Конверт без адреса. На нем крупно выведено: «На случай моей смерти – распечатать».

– Можете распечатать, мне все равно.

– Не могу. Письмо, вероятней всего, адресовано вам.

– А вдруг вашей жене? – горько усмехнулась Екатерина Марковна.

– Не думаю. Во всяком случае, официально женой Евграфова являетесь вы, а не Жан-Жанна.

– И вы можете спокойно говорить об этом?

– Я вынужден говорить...

– Одним словом, – прервала его Екатерина Марковна, – все, что связано с моим мужем и вашей женой, мне абсолютно неинтересно. И прошу впредь не беспокоить меня.

И положила трубку.

Еще через неделю на имя Екатерины Марковны пришла посылка: обшитый белой наволочкой «дипломат» Евграфова. В «дипломате» оказались запасная рубашка Евграфова, тапочки, носки, запонки, колода карт, валидол, а в отдельном кармашке – номер «Литературной газеты», чистые листы бумаги, шариковая авторучка «Паркер» и злополучный конверт: «На случай моей смерти – распечатать».

Как-то Екатерина Марковна возвращалась с работы домой. Обычно от метро «Сокол» она выходила переулками на улицу Алабяна, пересекала ее у моста, затем шла тихими, почти деревенскими, улочками небольшого московского поселка художников (дома здесь сплошь деревянные, с садами и даже огородами – райский островок в безбрежном море высотных домов) и, наконец, выходила к своему дому, многоэтажной тяжелой коробке на улице Панфилова, на третьем этаже которой и располагалась ее пустынная квартира. Правда, мимо дома, со стороны фасада, день и ночь проносились электрички, пассажирские и грузовые поезда, которые когда-то раздражали, когда жизнь в доме кипела и шумела, а теперь грохот железной дороги привносил в мертвенную тишину квартиры не только странное успокоение, но и некоторую радость: все-таки жизнь не кончилась, продолжается, вон она – шумит, гудит, движется...

Подходя к своему дому, Екатерина Марковна обратила внимание на шум и возню около соседнего подъезда.

– И правильно, и забирайте его! Ходят тут всякие, ходят... – услышала она знакомый голос.

Знакомый? Ну да, это был голос Марка Захаровича, пенсионера из соседнего подъезда, грозы всего дома. Грозность его заключалась в том (нелепая и смешная грозность), что он везде и всюду стремился навести порядок: «Как полагается!», совал нос во всякую неурядицу, а таковой ему представлялась любая чужая жизнь.

– Ну так что, гражданин, сами пойдете... или?.. – Это уже был голос милиционера; рядом стоял еще милиционер; тут же, с ярко зажженными фарами, поджидала специальная машина.

– А вон и Екатерина Марковна! – от этого возгласа, как от выстрела, Екатерина Марковна испуганно вздрогнула. – Екатерина Марковна, ну хоть вы-то им скажите!..

Она невольно замедлила шаг, стала пристально шуриться – страдала близорукостью, а очки носить не любила, особенно на улице.

– Екатерина Марковна!

Ногами, будто налившимися свинцом, она направилась к группе людей.

– Старший сержант Поликарпов! – козырнул ей милиционер. – Простите, это вы будете Евграфова Екатерина Марковна?

– Да, я, – ответила она. – А что случилось?

– Вот этот гражданин, по паспорту Нуйкин Семен Семенович, утверждает, что поджидает именно вас. Между прочим, в нетрезвом состоянии. Вы знаете этого гражданина?

– Екатерина Марковна, да скажите вы им!.. – Он смотрел на нее умоляюще. Ей и хотелось бы сказать: нет, не знаю такого, но совесть не позволяла: ведь она знала его, хоть и знать не желала, – это был муж Жан-Жанны.

– Так знаете вы этого гражданина или нет? – Старший сержант Поликарпов истолковал заминку Екатерины Марковны в том смысле, что тут наверняка какая-то пикантная и запутанная история.

– Они часа два тут и ходют, и ходют... подозрительный такой из себя человек, в очках, – вставил слово пенсионер-общественник Марк Захарович. – Я сразу сообразил – и в милицию, и в милицию...

– А вы помолчите пока, товарищ! – бесцеремонно оборвал его Поликарпов. – Ну, так что будем делать с гражданином Нуйкиным, Екатерина Марковна? Знаете вы его или, может, знаете, да вот неожиданно забыли?

Екатерине Марковне послышалось в интонации этих слов что-то оскорбительное, она вспыхнула и выпалила раздраженно:

– Да, знаю!

(А что оставалось делать?)

– Таким образом, – вновь козырнул старший сержант Поликарпов, козырнул с разочарованием, – вы утверждаете, что мы можем оставить товарища Нуйкина под вашу ответственность?

– Да, можете, – кивнула она. А что, нужно было сказать: нет, не утверждаю, забирайте его? Но совесть и что-то еще, чему она не могла пока дать объяснения, не позволили Екатерине Марковне сделать это.

– В таком случае – всего доброго. Извините! – Поликарпов козырнул на прощание, милиционеры сели в машину, которая резко осела под их одновременным движением, и машина тронулась с места, полоснув ослепительным светом по лицу Марка Захаровича. Он испуганно ойкнул, прикрываясь потрепанным рукавом пальто, и отшатнулся в сторону.

Стало темно; Екатерина Марковна и Нуйкин стояли друг против друга. Неподалеку, никуда не уходя, с пристальным вниманием наблюдал за ними Марк Захарович.

– Пойдемте! – резко проговорила Екатерина Марковна и, развернувшись, пошла по направлению к своему подъезду. Нуйкин, стараясь не пошатываться (ему, конечно, было стыдно; а впрочем...), пошел следом за Екатериной Марковной.

Они уже скрылись в подъезде, прошло минут пять или шесть, а Марк Захарович, как всякий человек на посту, продолжал стоять на своем месте, не веря ни увиденному, ни услышанному. Он чувствовал, нутром изнывал: тут подвох, явный подвох... А вот какой? И только когда в окнах квартиры Екатерины Марковны вспыхнул свет, Марк Захарович поплотней закутался в свое длиннополое, на манер шинели, обтрепанное пальто, примечательностью которого были еще и золотые пуговицы железнодорожника, и разочарованно вздохнул. Но тут спасительно-ядовитая мысль засеребрилась в его мозгу: «А на вид вроде порядочная женщина... Не успела мужа в могилу спихнуть, а уж Семен Семенычи появились. Ну, народ, ну, народ!...» И, разгоряченный этой мыслью, спасенный ею от смертной скуки, которая одолевала его в холостяцкой, давно потерявшей всякое человеческое тепло однокомнатной квартирке, Марк Захарович отправился восвояси.

– Раздевайтесь, что же вы! – гораздо грубей и резче, чем, в сущности, хотела бы, проговорила Екатерина Марковна, включив в прихожей свет.

– Я, собственно... – начал лепетать Нуйкин, поправляя в нерешительности очки на переносице. – Вы извините...

Екатерина Марковна, даже не взглянув на него, повесила свое пальто на вешалку, сняла платок с головы, поправила волосы.

– Раздевайтесь. Откуда вы только взяли на мою голову... – И прошла на кухню.

Нуйкин начал раздеваться, снял пальто, а когда расшнуровывал ботинки, наклонился и чуть не упал, потеряв равновесие. Собственно, он бы упал, но вовремя уперся руками в тумбочку; тумбочка наклонилась, но не перевернулась, а встала на место.

– Ну, что тут у вас? – Екатерина Марковна вышла из кухни (поверх платья она успела надеть фартук). – Что, чуть тумбочку не уронили? Хорош, хорош, ничего не скажешь... Как вас по фамилии? Нуйкин, что ли?

– Нуйкин. Семен Семенович, – одернув пиджак и поправляя галстук, бодро, как бодрятся все крепко выпившие мужчины, ответил тот. – Я, собственно, к вам. Извините, просто не к кому. Я к вам посоветоваться...

– Посове-е-товаться? – удивленно проговорила Екатерина Марковна. Проговорила не только удивленно, но и насмешливо.

– Да, если позволите. – Он снова одернул пиджак, стоял перед ней навтыжку: на одной ноге – ботинок, на другой – носок. – Вы не смотрите, что я нетрезв... я давно вас жду. Часа два...

– О чем вы можете советоваться со мной? Вы? Со мной? Вы хоть понимаете, как это нелепо звучит? Ладно, – махнула она рукой, – раздевайтесь. Проходите на кухню. – И опять ушла.

Он разделся, хотел надеть тапочки, которые стояли у порога, но вдруг узнал их, ведь это тапочки, которые лежали в «дипломате», и его от отвращения передернуло. А может, вовсе и не те тапочки? Черт их знает... Он прошел на кухню в носках.

– А тапочки? – нахмурилась Екатерина Марковна.

– А-а, я так! – Он сделал неопределенное движение рукой. – Не фон-барон.

– Чай будете? – Она смотрела на него в упор, без снисходительности, без мягкости.

– Да, если можно...

– Садитесь... – Показала на табуретку.

Кухня была просторная. То есть настолько большая, с такими высокими потолками, что Нуйкин и не помнил, чтобы видел когда-нибудь подобное. Вытянув ноги, сложив руки на коленях, Нуйкин с удивлением и уважением оглядывал кухню.

– Когда-то это была коммунальная квартира. – И все, больше ничего не стала добавлять Екатерина Марковна, правильно истолковав взгляд Нуйкина.

– И сколько семей тут жило? – спросил Нуйкин.

– Три.

– Понятно. – И после некоторой паузы: – А теперь?

– Вам это очень интересно? – опять без всякой мягкости, почти грубо спросила Екатерина Марковна.

– Да нет, я так... – смутился Нуйкин. И как-то странно, нелепо, а может, стыдливо хихикнул.

Екатерина Марковна взглянула на Нуйкина с презрением. Поставила перед ним чашку дымящегося чая. Налила чаю и себе. Нарезала сыра, хлеба. Поставила масло.

Помешивая чай, Нуйкин громко (руки дрожали) стучал ложкой о края, Екатерина Марковна морщилась.

– Так о чем вы хотели посоветоваться со мной?

Нуйкин не знал, с чего начать; отпил чаю, обжегся, закашлялся.

– Видите ли... – начал он. – Извините... – И закашлялся всерьез. Надолго.

– Вы, наверное, выпить хотите? – спросила Екатерина Марковна.

– Да, не отказался бы, – признался Нуйкин.

– Вот этого как раз и не будет. Обойдетесь! – отрезала Екатерина Марковна.

– Да? – удивился Нуйкин неожиданности ее логики.

– А вы как думали? Пьянствовать будете у меня? Достаточно того, что притащились без всякого приглашения.

– Да нет, я ничего... Мне только нужен один совет. Дело в том, что я... Сами понимаете, Екатерина Марковна, мое положение... я подал на развод...

Екатерина Марковна продолжала смотреть на Нуйкина строго, придирчиво, никак не выражая в словах своего отношения к услышанному.

– Понимаете? – переспросил Нуйкин. Лоб его покрылся испариной.

Екатерина Марковна кивнула: мол, понимаю, а дальше что? А, впрочем, снисходительности ради, с некоторой паузой произнесла:

– Давно пора.

И с нажимом добавила:

– Я вообще не понимаю, как можно жить с такой женщиной.

– Но я ничего не знал! – протестующе воскликнул Нуйкин.

– Бросьте! Всё вы знали. Просто лгали себе.

– А вы?

– Что – я? – Екатерина Марковна окинула Нуйкина ледяным взглядом.

– Вы разве не знали?

– Мало ли что я знала... И потом – мне было все равно.

– Что-то я не совсем понимаю...

– А это и неважно – понимаете вы или нет. Вы для чего пришли сюда? Для этого?

– Простите, – согласно закивал головой Нуйкин. – Конечно, нет, не для этого. Но, видите ли, я... в некотором роде... считаю нас собратями по несчастью. Хотя ваше несчастье, конечно, несоизмеримо с моим. У вас умер муж.

– Туда ему и дорога.

Тут Нуйкин поперхнулся, так что хлеб с сыром, который он только что откусил, крупными крошками разлетелся по кухне. Екатерина Марковна проследила за траекторией крошек, спокойно произнесла:

– Вон тряпка. – Кивок на раковину. – Убирайте сами. Не фон-барон, правильно заметили.

Нуйкин нестерпимо покраснел; вообще в жизни он краснел часто, но тут его окатил жаром особый стыд – за свою неряшливость, бескультурье, да и стыд за унижительность своего положения тоже был. Небольшого роста, плотный, с крупными залысинами, с лицом вечно несчастного, грустного мима, Нуйкин выглядел в эти минуты довольно живописно: именно таких мужиков презирают женщины, чтобы тем самым еще больше возвыситься в собственных глазах.

Красный, разом вспотевший, Нуйкин прошел к раковине, взял тряпку, намочил ее и, неловко приседая, кряхтя, начал то там, то сям собирать крошки на полу обширной кухни.

Екатерина Марковна продолжала пить чай; по возрасту она, пожалуй, приходилась ровесницей Нуйкину, лет под тридцать пять обоим, но выглядела помоложе гостя, свежей, что ли, и главное – в посадке ее головы, во взгляде, в аккуратно уложенных черных волосах, в воинственности орлиного носа, в темных пронзительных и беспощадных глазах – во всем ее облике чувствовалась уверенность в себе, непреклонность и даже властность характера. Именно от таких женщин чаще всего сбегают мужья.

– И вон там еще забыли, – как бы между прочим произнесла Екатерина Марковна.

Нуйкин поднял на нее встревоженный взгляд, при этом умудрился покраснеть еще больше, чем прежде:

– Где?

– Вон, в углу, – показала она.

В самом деле, Нуйкин увидел там крошки. Бросился собирать их. И только после того, как, кажется, собрал все до единой, промыл тряпку в раковине и развесил ее на кране сушиться.

– Так о чем вы хотели посоветоваться со мной? – Екатерина Марковна показала Нуйкину на табуретку.

Нуйкин покорно сел. Склонил голову. Уперся руками в колени.

– Дело в том, что в последнее время многие отвернулись от меня...

«Еще бы!» – подумала Екатерина Марковна.

– Как будто это я что-то совершил, а не жена... На нее-то наоборот – как на героиню смотрят.

– Жена загуляла – муж виноват, муж загулял – жена виновата, у нас так, – бесстрастно подтвердила Екатерина Марковна.

– Вот-вот... А разве это я виноват? – встрепенулся Нуйкин.

– Виноватых у нас никогда нет, – жестко сказала Екатерина Марковна.

– Не знаю-у... – протянул Нуйкин. – Я своей вины ни в чем не вижу.

– А разве не потворствовали жене?

– В чем?

– Ладно, не в ту сторону поехали, – оборвала Екатерина Марковна. – Так что вы хотели сказать?

– Видите ли, я подал на развод. Мне нужна помощь... однако все отвернулись от меня.

– Какое вам дело до «всех»?

– Мне нужен друг. Сообщник, что ли. Дело в том, что есть только одна причина, по которой развод в суде оформляется немедленно.

– А вам, конечно, нужно немедленно? – усмехнулась Екатерина Марковна.

– Да. Жить рядом с женой для меня пытка. Я больше не могу. Я ее ненавижу.

– Ну, и при чем здесь я?

– В заявлении в суд я написал, что наш брак с женой давно распался, так как фактически я поддерживаю супружеские отношения с другим человеком. При этом считаю необходимым оформить эти отношения юридически.

– Опять тот же вопрос: при чем здесь я? – Екатерина Марковна посматривала на Нуйкина даже с некоторым интересом.

– Видите ли, я уже говорил, что считаю нас с вами в некотором роде собратями по несчастью. Поэтому надеюсь на вашу помощь. Помогите мне, Екатерина Марковна!

– Да в чем?

– Если на суде меня спросят, кто именно тот человек, с которым якобы я поддерживаю супружеские отношения, нельзя ли мне сослаться на вас?

– То есть как? – изумилась Екатерина Марковна.

– Ну, я скажу: это, мол, такая-то, Екатерина Марковна Евграфова, проживает по такому-то адресу и так далее...

– Да вы сумасшедший! – невольно вырвалось у Екатерины Марковны.

– Но это же понарошке. Только чтоб развели поскорей. И чтоб человек был реальный. Чтоб в случае чего подтвердил: да, так все и есть. А больше мне ничего не надо. Ничего! Помогите, Екатерина Марковна!

– Нет, вы определенно ненормальный, – с нажимом произнесла Екатерина Марковна. – Мало того, что муж путался с вашей так называемой Жан-Жанной, так вы еще меня хотите вплести в эти дела. Да вы представляете, о чем вы вообще говорите?! Или вы настолько спились, что потеряли всякое представление о реальности?

– Я не спился. Я вообще не пью. А это так – для храбрости. От растерянности.

– Знаете что, Нуйкин, избавьте меня от ваших объяснений. Кто вы, что вы, какие там дела у вас с женой, – меня не интересует. Все! И на этом конец! – Екатерина Марковна поднялась с места.

Нуйкин в смятении и даже в некотором испуге тоже привстал с табуретки.

– Я ведь только хотел... думал, вы, как собрат по несчастью... А вы не поняли. Обиделись. Зря! Я не хотел... извините!

– Все! Все! Ей-богу, есть предел человеческому терпению. Вся эта грязная история мне вот так надоела! – Она чиркнула ладонью по горлу. – Уходите!

– Ухожу, ухожу. – Нуйкин, прижав руки к груди, округлив глаза, попятился к выходу.

– И чтоб больше не звонили мне! Не ходили! Не торчали! Чтоб духу больше вашего не было! – не на шутку разошлась Екатерина Марковна.

Семен Семенович поспешно оделся, причем в последнюю секунду выронил из рук портфель, откуда веером посыпались газеты, журналы, пробки от пивных бутылок.

– Я сейчас, сейчас, мигом... – В спешке он засовывал газеты и журналы как попало.

– И пробки забирайте! Не пьет он... А чего пробки с собой таскаете?

– А это, – он поднял на нее глаза, – я пиво пил. Не выбрасывать же пробки на улице?

– Ишь какой... Ну, ладно, забирайте все поскорей!

Наконец он вышел за двери.

– Извините, Екатерина Марковна, я... – Он хотел еще что-то сказать, оправдаться, но Екатерина Марковна решительно захлопнула дверь прямо у него под носом.

Вот так же хлопнула она дверь, когда Евграфов пошел умирать к Жан-Жанне. Он, конечно, не знал, что пошел умирать, и она не знала, никто не знал, но именно так все случилось. Она спросила его тогда:

– К девкам своим потащился?

И он ответил. Он усмехнулся:

– Ну да. К девкам.

– Чтoб ты сдох там! – И с грохотом захлопнула дверь.

И он пошел к Жан-Жанне. Он сначала усмехнулся, затем улыбнулся и пошел. Его устраивал гнев жены. Злиться – значит, можно взять портфель, повернуться и уйти. А она хлопнет дверь. Самое глупое, что делают жены, – это когда злятся на мужей. Когда ненавидят их. Тогда-то именно спокойно делайте все, что вздумается. Жена может пронять мужа равнодушием. Безразличием. Молчанием. Презрением, наконец. А гневом – нет. Бранью – нет. Ненавистью – нет. Впрочем, о чем тут говорить, вы сами все – мужья и жены...

Вообще-то Евграфов в последнее время хандрил. Давило что-то. Если бы позже, мертвый, он мог осознать прошлое, он бы понял, что это было предчувствие конца. А он к смерти относился насмешливо. Смерть – она есть, да не про нашу честь. Не в пятьдесят же четыре года умирать, в самом-то деле? А ведь вот давило что-то, мучило... что?

С Жан-Жанной он познакомился не так, как знакомился с другими женщинами. Не так – то есть не напрямую: не взял вот прямо на улице и пристал, или приглядел, например, в ресторане, или встретил у приятеля на выставке. Собственно, живописью интересовалась Марьяна Иоанновна, ее мать; маленькая двухкомнатная квартира в Бабушкине; внучка Барбара девяностидесяти лет; книги, картины, серебро; Марьяна Иоанновна была отчасти иностранных кровей, отсюда особые манеры, горделивость, чувство собственного достоинства. Евграфову нравилось бывать у Марьяны Иоанновны потому, что она и в самом деле любила живопись импрессионистов. Многие, кому Евграфов сбывал копии Дега или Писсарро, Мане или Сислея, Ренуара или Клода Моне, хапали картины либо по глупости, либо из горделивого высокомерия: у меня вот есть, е-е-есть, а у тебя? Да мало ли нюансов в купле-продаже картин (копий, конечно), а вот Марьяна Иоанновна обожала импрессионистов искренне. Настолько искренне, что, например, постимпрессионистам уже не находилось места в ее сердце. Гогена или, скажем, Ван-Гога она знать не хотела (какой это *импрессионизм*, пусть даже и пост? – это же сущий примитивный *реализм*]), исключение делала только для Сезана, считая его живопись промежуточной между импрессионизмом и постимпрессионизмом. Бывая у Марьяны Иоанновны (копии Евграфов всегда сам доставлял на дом, такое было золотое правило), Евграфов нередко задерживался в этой тихой уютной квартире – посидеть с Марьяной Иоанновной за чашкой кофе, поговорить о том о сем, просто отдохнуть перед дальней дорогой: заказов много, клиенты ждут и несть им числа... Тешила сердце Евграфова и внучка Марьяны Иоанновны, Барбара. Тешила главным образом одной, исключительно редкой в наши дни чертой характера – послушанием. Нет, она не была ни забита, ни глупа, – она относилась с любовью, с обожанием, с уважением к бабушке, – отсюда радостное, раскованное, счастливое послушание. Удивительно! Легкий человек, любивший радость, праздничность и сиюминутность жизни, Евграфов уставал

от бесконечной – явной или тайной – семейной борьбы. Уставал от того, что женщина, будь она хоть мать, хоть жена, хоть дочь, не видит никакого другого назначения на земле, кроме *борьбы* с мужчиной, будь он сын, муж или зять. Никто и нигде, никакие женщины (в семье, только о семье разговор!) не слушаются, не почитают, не уважают мужчину, как главу рода, как кормильца, как человека, дающего жизни возможность быть полной, радостной, счастливой, осмысленной. Удивительно! А ведь есть, есть другие примеры в жизни – вот хоть Барбара и ее бабушка, Марьяна Иоанновна. Пусть тут нет мужчины, но тут есть почитание старшего, уважение к нему, любовь и трепетность перед его авторитетом. Кстати, отца у Барбары вроде как бы и не было (так из нескольких мимолетных объяснений понял Евграфов), и мать Барбары – дочь Марьяны Иоанновны – решила всерьез заняться своей судьбой, вышла замуж, оставив дочь на попечении бабушки, а тем только это и нужно было...

И вот так однажды Евграфов сидит у Марьяны Иоанновны, пьет кофе из тонкого китайского фарфора, ведет неспешные разговоры об особой загадочности колорита Моне, если вспомнить, например, «лондонский» цикл его шедевров, с чем Марьяна Иоанновна была бесспорно согласна: «Да, да, это действительно загадка, сплошной туман, Темза и вдруг – сиреневый-сиреневый! – Биг Бэн, сиреневая Тауэр, это поразительно, просто чудо!...» – и тут звонок в дверь, Барбара открывает, и слышен ее тонкий радостный голос: «Ой, мамочка, ты такая холодная, как льдинка!»

Евграфов удивленно-вопросительно взглянул на Марьяну Иоанновну.

– Извините, – улыбнулась она, – я на минутку. Это, кажется, Жан-Жанна, дочь... – И оставила Евграфова одного.

Естественно, затем последовало знакомство, и, помнится, Евграфова с первой минуты пронзило: все будет! У Жан-Жанны были свободные, широкие движения, глаза смотрели удивленно и требовательно одновременно, пухлые сочные губы, слева над верхней губой маленькая, как малиновая бусинка, родинка и, разумеется, светлые пышные волосы. Первая же улыбка, которой она одарила Евграфова, словно говорила: «Ах ты старый, хитрый плут, ишь, загляделся, ну посмотри, посмотри, не жалко, да и что может быть жалко молодой женщине, мечтающей только об одном – о счастье!...»

Живописью Жан-Жанна не интересовалась (или делала вид, что она ей совершенно безразлична, – ох, бестия!), на тонкие, глубокомысленные разговоры Евграфова о картинах, пейзажах, колоритах не реагировала. Изредка, ни с того ни с сего, начинала громко и обидно смеяться (а почему обидно – чуть ниже), Евграфов морщился, а Марьяна Иоанновна всякий раз произносила:

– Жан-Жанна, ну как можно...

Дело в том, что, когда познакомились и Евграфов, как обычно, вполне серьезно представился: «Кант Георгиевич!» – Жан-Жанна посмотрела на него как на сумасшедшего и, не выдержав, взорвалась от смеха:

– О Господи, везет же мне на идиотов!

– Жан-Жанна... – Это, конечно, голос матери. Укоризненный голос.

– Одного зовут Кант Георгиевич, другого – Иван Карлович, третьего – Семен Семенович! (Иван Карлович, как выяснилось позже, был ее тогдашний – до Евграфова – любовник.) Ну скажите, что может быть смешнее этих сочетаний – Кант Георгиевич, Семен Семенович?!

– Ничего не вижу смешного, – вмешалась мать.

– А фамилия, фамилия ваша как? – смеялась Жан-Жанна.

– Ну, Евграфов.

И это еще больше рассмешило ее:

– Господи, Евграфов! Муж у меня – Нуйкин, а вы – Евграфов. Семен Семенович Нуйкин и Кант Георгиевич Евграфов! Восхитительно! Откуда вы только беретесь такие? В каких берлогах рождаетесь? Из каких дыр вылезаете?

Отец Евграфов – Георгий Иванович – был профессиональным философом, и нет ничего удивительного, что своего сына-первенца он назвал Кантом (нужно вспомнить те годы, всеобщий энтузиазм, мечту о мировой революции, повальное увлечение вечными вопросами бытия). Тогда это сочетание – Кант Евграфов – воспринималось не только красивым, но и значимым, осмысленным, передовым. Впрочем, и нынче в кругу художников, музыкантов, людей кино, в кругу женщин, обожающих искусство, имя и фамилия Евграфов – Кант Евграфов – принимались с уважением, с пониманием: был тут свой шарм, чувствовалась художественная изюминка. Многие, честно говоря, думали, что это не настоящие имя и фамилия Евграфова, а его псевдоним.

...Однако, несмотря ни на что, из квартиры в Бабушкине Евграфов с Жан-Жанной уезжали вместе. Ну, еще бы – у Евграфова машина, «Жигули», и почему бы не подвезти красивую молодую женщину? А куда подвезти? А хоть куда, ответила Жан-Жанна и рассмеялась. «Не понял», – подумал Евграфов. В машине она еще несколько раз принималась хохотать (Евграфов понимал – вспоминала его фамилию и имя, но, удивительное дело, теперь не злился, не обижался), блестели ее белые зубы, блестели глаза, обворожительна она была, ничего не скажешь...

– Вы что, свободны сейчас? – спросил Евграфов.

– Сама не знаю, – беспечно бросила она.

«Не понял», – подумал Евграфов, но уже с какой-то радостью подумал.

– Может, заедем к одному знакомому художнику? О, по делу, по делу, – поспешил добавить он, потому что Жан-Жанна посмотрела на него... с насмешкой? с презрением? с беспощадным пониманием? Одним словом, посмотрела так, что он забормотал: – О, по делу, по делу...

– Все ваши дела ведут к одному... Поехали!

Знакомый художник, Володя Хмуруженков, жил как раз в одном из домиков в поселке своих братьев, неподалеку от «Сокола». Евграфов сам открыл деревянные ворота; с шелестящим шумом машина въехала во двор – шуршала под шинами пожухлая трава. Дымилась осень; горели клены. Выйдя из машины, Жан-Жанна почувствовала себя не совсем привычно: в городе шум, гам, столпотворение, а тут – райская тишина, покой, листья падают с кленов. Странное местечко в Москве.

Художник работал. Молодой, русый, с длинными чистыми волосами, с русой, будто пенящейся, бородой, со светлыми глазами, которые, правда, смотрели так, будто не видели вас: во всяком случае, никакого доброго расположения или радости они не выражали при вашем появлении. Художник даже не кивнул в ответ на их приветствие.

– Как дела? – спросил Евграфов.

– Работаю, – просто, без всякой интонации ответил художник.

Евграфов подошел к художнику со спины, взглянул на холст через плечо:

– Дега?

Художник, не оборачиваясь, кивнул.

– Жан-Жанна, это Дега. «Голубые танцовщицы», – повернулся Евграфов к Жан-Жанне.

– Не знаю таких.

Художник усмехнулся: его всегда забавлял выбор Евграфова.

– У вас есть выпить? – строго, как бы с вызовом спросила Жан-Жанна у художника.

Комната (мастерская), в которой они находились, была сплошь заставлена и завешана картинами. Было много цвета, обнаженных женщин, пленэра.

– Я не пью, – ответил художник, продолжая как ни в чем не бывало работать. – И вам не советую.

– Кстати, познакомьтесь, – сказал Евграфов. – Это – Жан-Жанна, а это – Владимир Хмуруженков. Великий художник.

Художник в который раз усмехнулся.

– Ну, в будущем, в будущем... – поспешил Евграфов. – Всех великих признают только после смерти.

– Не лги, Евграфов, – сказал художник.

– А вы могли бы нарисовать меня? – спросила Жан-Жанна. Она развалилась в мягком, глубоком старинном кресле. Она была молода, хороша собой, она знала это.

– Зачем? – спросил художник.

– Что зачем? – не поняла Жан-Жанна.

– Зачем вас рисовать? – Художник обернулся, посмотрел на нее долгим, пристальным, оценивающим взглядом.

– Неужели я хуже их? – Она кивнула на картины. На женщин, которых такое множество было вокруг. Кивнула и улыбнулась художнику.

– Вы не из тех, кого рисуют. – Художник вновь повернулся к холсту. – Если не ошибаюсь, вы женщина пустая. Как прикажете изобразить вас на холсте?

Жан-Жанна рассмеялась. Рассмеялась весело, искренне, как будто услышала отменный комплимент.

– Наверняка вы неудачник, – сказала она. – Точно, неудачник. Первый раз видит женщину и – обижает ее. Талантливые люди великодушны.

– Да? – удивился художник. Он и в самом деле удивился: оказывается, она не так глупа, как показалось вначале.

– Между прочим, я заехал по делу, – вклинился в разговор Евграфов. – Закончились картины.

– Вон, в углу, – кивнул художник. – Давно ждут...

В углу действительно стояли картины, завернутые в белую плотную ткань, перетянутые бечевкой.

– Ну, мы поехали? – сказал Евграфов.

– Давайте.

И на этом все, ни слова на прощание; Евграфов с Жан-Жанной вышли из дома.

– Он всегда такой? – спросила Жан-Жанна, когда они выехали на Ленинградский проспект. Жан-Жанна курила сигарету, в салоне струился оркестр Поля Мориа.

– Володя и правда талантливый художник. Но он вынужден зарабатывать на жизнь. И он злится, потому что на это уходит много времени.

– А ты? – Жан-Жанна впервые назвала его на «ты», и сердце у него залилось волнением: сколько ни живи, хоть до глубокой старости, сердце у мужчины остается молодым.

– Что – я? Я посредник. В воздухе мода на импрессионизм – видно, по контрасту со всеобщим прагматизмом, все хотят иметь хотя бы копии Ренуара, Сислея, Дега, Мане, и мы их поставляем.

– И когда-нибудь вас, конечно, посадят за это, – спокойно, в тон Евграфову произнесла Жан-Жанна.

Евграфов покосился через зеркальце на Жан-Жанну, снисходительно улыбнулся:

– За что? Володя – член Союза художников, я – научный сотрудник Всесоюзного художественного фонда. Ничего противозаконного.

– Живете, значит, на зарплату? – усмехнулась Жан-Жанна и стряхнула пепел на пол.

– У творческих работников, дорогая, зарплаты не бывает. Они живут на гонорары. Кстати, ограничений на гонорары не бывает.

– Хорошо устроились.

– Никому не запрещается. Бери кисть, краски, мольберт – рисуй. Небось сразу запоешь: есть хочу, пить хочу... А тебе вместо этого – шиш с маслом!

– Что-то не заметила ваших голодных глаз и подтянутых животов.

– Спасибо классикам, они нас выручают. Когда-то они голодали, теперь помогают нам. Потом и мы кого-нибудь выручим. Всему свое время...

– Ох, до чего мужики самоуверенный народ!

– Дело не в самоуверенности... Дело в вере. Заедем пообедать?

– Конечно, к тебе домой? И там, конечно, ты начнешь приставать? – Она смотрела на него с насмешкой.

– Зачем же? В ресторан «София», например. Сейчас как раз проезжать будем, площадь Маяковского...

– Ну, если в ресторан, – поехали.

Евграфов любил жизнь. И в такой форме тоже любил – когда на него плюют. Когда женщине нет никакого дела до него, до Евграфова, как до мужчины, а тем более – как до художественного дельца. Пусть. Ведь интересно, что вот ты для кого-то совершенное ничто, потом идет время, еще идет, и вдруг все разом меняется: женщине хорошо с тобой, женщина уже с трудом представляет, как это раньше не было тебя в ее жизни. Странно, правда, странно... А вся отгадка в том, что не нужно нажимать, давить, спешить. Не нужно подминать. Иногда нужно вместе пообедать в ресторане. Иногда – съездить куда-нибудь за город, например в Архангельское. Иногда – небрежно так вручить билет на Таганку, скажем – на Вознесенского. Иногда – что-нибудь подарить. Вот-вот, подарить. Мужчина нынче пошел прагматик: в постель – пожалуйста, а дарить, тратиться – увольте. А ты – даришь. Ты – Евграфов, ты добрый, улыбочивый, ты не обижаешься, даже если тебе плюют в лицо (ты еще возьмешь свое), тебе просто нравятся красивые люди, женщины, их слова, улыбки, жесты, мягкие волосы, большие глаза, плавные глущие движения. Тебе нравится эта игра, потому что в любой игре есть победители и побежденные. Отчего же не побыть в роли победителя? В конце концов мужчина – всегда победитель, если он идет до конца. А кому не хочется лишний раз убедиться в том, что он – мужчина?

Мужа Жан-Жанна презирала. За что – о том рассказ ниже.

В Иване Карловиче, любовнике, она обожала эрос (именно так она выражалась), но не любила в нем хитрость, изворотливость, жадность.

И вдруг – Евграфов. Которому ничего не нужно. Добр. Улыбчив. Сговорчив. Что вам нужно от меня, Кант Георгиевич? О, ничего, Жан-Жанна, абсолютно ничего... Вот ведь врет, а все-таки приятно, когда человек говорит, что ничего ему не нужно от тебя. Наоборот – он только и занят тем, что делает подарки. Поверьте, это доставляет ему удовольствие. Один раз – джинсы. Джинсы – с ума сойти! Настоящие, американские, с заклепками, с «фирмой», с замками. В другой раз – позолоченные часы. В третий – югославские сапожки. В четвертый – японский халат и отличное, японское же, нижнее белье. В пятый...

В пятый раз они оказываются у Жан-Жанны дома. Сначала – за чашкой чая. Потом – в постели.

В метро, перед самым выходом из дверей, кто-то нечаянно толкнул Екатерину Марковну, сумка ее раскрылась, и апельсины, как бильярдные шары, веером покатались в разные стороны. Несколько человек бросились помогать Екатерине Марковне; она в благодарности кивала головой, подхватывала апельсины и, краснея, будто делала что-то постыдное, быстро складывала их в сумку. Неожиданно в одном из мужчин она узнала Нуйкина.

– Семен... Иванович? – удивилась она.

– Да, я, – кивнул он. – Только Семен Семенович. Добрый день, Екатерина Марковна.

– Вы? Откуда? Что вы здесь делаете? – Странные вопросы задавала она, как будто человек не имеет права оказаться там, где он оказался. Тем более в Москве, где дороги каждого неисповедимы.

– Я здесь живу. Неподалеку, – ответил он, и они вместе вышли наконец из метро.

– Странно, – сказала она. – Насколько мне помнится, вы жили от «Сокола» Бог знает на каком расстоянии...

– Все меняется, Екатерина Марковна, – ответил Нуйкин. – В том числе и место жительства.

– Ах, да, да... – догадливо произнесла она, вспомнив, что Нуйкин ведь собирался разводиться с женой.

Сколько прошло времени со дня их последней встречи? Верней, с того дня, когда Екатерина Марковна выставила Нуйкина за дверь? Тогда была осень, сырость, промозглый вечер, теперь – апрель, сухо в Москве, набухают почки тополей, скоро майские праздники... Полгода? Пожалуй, даже больше.

– Разрешите, – Нуйкин подхватил сумку Екатерины Марковны.

– Но мне вот сюда. Налево, – показала она.

– Ничего. Мне почти туда же, провожу вас, – сказал он.

Некоторое время шли молча. Странное дело, оба чувствовали, что за последние месяцы они изменились. Или это только казалось?

– Ну как вы, развелись с вашей женой? – спросила она.

– Да, развелся, – кивнул он.

– У вас есть дети?

– Дочка.

– Теперь платите алименты?

– Да, – сказал он.

– Больше всех страдают от семейных неурядиц дети.

Нуйкин на это ничего не ответил, промолчал.

– Вот что я вспомнила, – Екатерина Марковна улыбнулась. – Нашли вы тогда себе «невесту»?

– Нет, не нашел. – Отвечать улыбкой на улыбку Нуйкину не хотелось. Он ответил строго, серьезно.

– Значит, никто не захотел комедию ломать?

– Никто.

– Вот видите... А вы, наверное, обиделись тогда на меня?

– Нет, не обиделся. Я испугался. Вы тогда так разозлились...

Екатерина Марковна рассмеялась.

– Станный вы человек, – смеялась она. – И часто вам приходят в голову такие сумасбродные идеи?

– Если идеи помогают меньше страдать – разве это сумасбродные идеи?

– Да? – удивилась она.

– Да, – ответил он.

Он сказал «да» и подумал: странно, что она смеется. Полгода назад ее, такую воинственную, суровую, неприступную, нельзя было и представить смеющейся.

– Наверное, у вас случилось что-то хорошее? – спросил он.

– Хорошее? – она внимательно посмотрела на него, потому что вопрос этот удивил ее. – Как сказать... А в общем, да: приехала дочь с Байкала.

– Я и не знал, что у вас есть дочь. Поздравляю!

Они уже вышли на улицу Алабяна, теперь пересекали ее, переходили на другую сторону неподалеку от моста.

– Она окончила десять классов и уехала на БАМ. Она ненавидела нас. Нас – то есть родителей. В знак протеста не стала никуда поступать и уехала.

– Ненавидела... За что? – задумчиво спросил Нуйкин.

– Как будто не было за что ненавидеть, например, Евграфова, – ответила Екатерина Марковна. – Она все видела. Все понимала. А меня ненавидела, потому что я терпела. Смирялась с подлостями мужа.

– Понятно, – в прежней задумчивости проговорил Нуйкин.

– Ну, вот мы и пришли, – неожиданно бодро-приподнято сказала Екатерина Марковна. Они и в самом деле стояли около ее дома. – Спасибо вам, – и протянула руку. – Рада была повстречаться с вами.

Нуйкин стеснительно пожал ей руку в ответ.

– Где же вы живете? – спросила она.

– На Песчаной, – ответил Нуйкин.

– О, совсем близко. Даст Бог, увидимся еще. Всего доброго!

– До свидания, – сказал Нуйкин.

На этом они расстались.

У Евграфова были любопытные мысли насчет «вечного двигателя». Когда он их высказывал, например, людям техническим, инженерам, физикам, электронщикам, мало ли какие специалисты встречались ему на пути в его коммерческих вояжах, от него поначалу отмахивались: ну, глупости какие!.. А потом, подумав, каждый вдруг находил идею Евграфова не совсем сумасбродной. То есть, конечно, сумасбродной, дикой, но тем не менее в *принципе* любопытной, даже, может быть, существенно новой, а может, отчасти и гениальной. Только вот циничной, что ли... Или гениальность не бывает циничной?

Отец Евграфова, философ Георгий Евграфов, в бесконечных спорах с коллегами нередко касался и этого вопроса – «перпетуум мобиле». Сын слушал, думал, ломал голову и, став взрослым, не только нашел разгадку «вечного двигателя», но даже удивлялся, почему до него никому не приходило в голову это простейшее, и легкое, и на поверхности лежащее решение.

– Ты знаешь, что такое «перпетуум мобиле?» – спросил Евграфов у Жан-Жанны в первый же день их постельной любви.

– Думаешь, я совсем дурочка? – усмехнулась Жан-Жанна, развалившись как тигрица на белоснежных простынях.

– А все-таки?

– Ну, «вечный двигатель». Устраивает?

– Вечный двигатель – это любовь, – глубокомысленно произнес Евграфов.

– Ах-ха-ха! – рассмеялась Жан-Жанна. – Евграфов, ты не только живописный маклер, ты еще и философ! Поздравляю, поздравляю, Евграфов.

– Да ты вдумайся, в самом деле! – разволновался Евграфов. Он каждый раз волновался всерьез и искренне, когда приходилось объяснять свою теорию новому человеку, особенно женщине. – Покуда было, есть и будет человечество, была, есть и будет любовь. Любовь вечна, это аксиома. А какова любовь в физическом смысле? Она – двигательна. Представь себе наш земной шар. Он постоянно вращается. И каждую секунду, каждую минуту, каждый час где-то на земле ночь, а ночь – это любовь, а любовь – это движение. То есть движение любви не прекращается на земле никогда. Теперь вопрос: использует ли человек это движение? Не в сущности своей, не в конечном результате – то есть не в воспроизведении потомства, а в смысле использования любви как физического движения? Если бы человечество обязало каждого из нас после свадьбы, например, прикреплять к ноге специальный аппарат, который преобразует физическое движение в энергию, скажем, электрическую, то, представь себе, какие запасы энергии получало бы человечество в каждую секунду своего существования! Появился бы вечный, никогда не прерываемый и никогда не истощаемый «перпетуум мобиле». Понимаешь ли ты, любовь – это и есть вечный двигатель?! Понимаешь, нет?!

Жан-Жанна искренне смеялась. Повалив Евграфова, щекотала его: Кантик ты мой, Евграфов ты мой глупый, дурной, ох, и дурной... Запомните: Кант Евграфов – изобретатель вечного двигателя!..

Увиделись они гораздо быстрее, чем, наверное, могла предположить Екатерина Марковна. Через два дня. На Ленинградском проспекте, неподалеку от 57-го отделения почтамта, Екатерина Марковна зашла в булочную – редко сюда заходила, не совсем по пути, а тут зашла. Взяла половинку черного и батон. Подошла к кассе. И когда подняла глаза от полиэтиленового пакета, в который сложила хлеб, – обомлела. За кассой сидел Нуйкин.

– Добрый день, Екатерина Марковна, – улыбнулся он.

– Здравствуйте, – пролепетала она и почувствовала, как жгучий, сильнейший стыд залил ей лицо. И не только лицо, но и шею. И даже руки. К тому же руки, почувствовала она, стали мелко дрожать.

– С вас двадцать одна копейка, Екатерина Марковна. – Он продолжал, кажется, улыбаться, но она плохо видела, неожиданно все стало для нее как в тумане.

– Да, да, сейчас... – Дрожащими руками она достала из кошелька «двадцатник» и копейку, причем копейка выскользнула из пальцев, пока Екатерина Марковна нагибалась, искала ее на полу, в очереди раздались недовольные голоса.

– Тихо, тихо, товарищи, – успокаивал их Нуйкин, и, кажется, еще больший стыд, чем прежде, вновь залил лицо Екатерины Марковны, когда она наконец нашла копейку и подала деньги Нуйкину.

Подала и тут же пулей выскочила из магазина, ничего не сказав Нуйкину в ответ, хотя он как будто о чем-то спросил ее. Впрочем, нет, он, кажется, просто сказал: «Всего доброго, Екатерина Марковна, заходите еще». Она выскочила из булочной и, красная, возбужденная, слепо наталкиваясь на прохожих, помчалась по проспекту. И вдруг встала. Остановилась как вкопанная. (Прохожие с удивлением посматривали на нее.) Вспомнив себя, свой стыд, горящие щеки и как отводила глаза, когда Нуйкин приветливо здоровался с ней, и как мелко, подло дрожали руки, когда возилась с кошельком, вспомнив все это, она вдруг пронзилась чувством гадливости к самой себе. Как же так? Что с ней случилось? Оказывается, ей было стыдно! Стыдно, что Нуйкин – ее знакомый, что он, мужчина, сидит за кассой, в хлебном магазине; показался стыдным сам этот факт. Как же так?! Что с ней случилось?! Неужели она такая? И теперь другой, новый стыд, не тот прежний, жалкий, трусливый, а стыд настоящий, из глубины души, стыд человеческий опалил ее всю с ног до головы так, что по телу побежали мурашки. И ведь он понял, наверное? Конечно, понял! Он же не дурак... Он все понял, Господи! И это она, которая всегда и всюду, в каждом человеке стремилась прежде всего разглядеть душу... Она, которая кричала когда-то Евграфову в лицо: «Мерзавцы, подлецы, из-за вас нечем дышать простому человеку, вы все осквернили своими хапужными руками, у вас все продается и покупается, и нет ничего для вас святого!» (На все эти слова Евграфов спокойно-блаженно улыбался.) Она ненавидела Евграфова, его знакомых, его философию, всю его жизнь, тайную и явную, и в себе самой, в глубине, в спрятанной сути, хранила только одно, как талисман: святое уважение к простым людям, к труженикам, к тем, кто истинно работает, занимается делом, каким бы маленьким и неприметным оно ни казалось. И вот – устыдилась Нуйкина! Отчего? Оттого, наверное, что в мыслях своих она кем только не представляла Нуйкина, но только не продавцом, не кассиром в хлебном магазине! Инерция шаблонного восприятия людей сыграла с ней злую шутку. Она *заранее, давно* отрунула от себя Нуйкина, представляя его, по подобию со своим мужем, каким-нибудь верным подлецом и негодяем. Ведь, положила руку на сердце, она ни разу не поинтересовалась, чем занимается Нуйкин, хотя разговаривала с ним не однажды. Почему? А когда увидела, осознала, что он самый наипростейший человек (уж куда проще – кассир в хлебном магазине), – сразу и устыдилась его. Узнай она, что он, к примеру, директор

ювелирного магазина, или кандидат технических наук, или хоть стоматолог, – наверняка не устыдилась бы, хотя про себя могла с радостью отметить: а-а, ясно, и этот мошенник, бездельник, паразит или кто там еще... В том-то вся и штука в жизни: подлецов не уважаем, ненавидим, негодуем против них в глубине души, но – не стыдимся знакомства с ними! А простого человека – любим, уважаем, восхищаемся им, а чуть до дела, чуть до того – *что* о нас подумают окружающие, *как* мы выйдем в глазах толпы, – сразу и устыдишься знакомства с маляром, вахтером, бедно одетой старухой или вот мужчиной – кассиром в хлебном магазине.

Екатерина Марковна резко развернулась и, как прежде, слепо наталкиваясь на прохожих, заспешила в обратную сторону. Вошла в магазин. Нуйкин все так же сидел за кассой, спокойно, приветливо, чуть ли даже не с радостью, как казалось, обслуживая покупателей.

– Семен Семенович! – Она решительно подошла к кассе – не со стороны очереди, а чуть сбоку, прямо от входной двери. – Семен Семенович, – повторила она несколько глуше (в очереди начали поглядывать на них), однако самым мучительным оказалось то, что Екатерина Марковна сама не знала, что хотела бы сейчас сказать.

– А, Екатерина Марковна! Забыли что-нибудь? – радостно, как совсем недавно, улыбнулся Нуйкин.

– Семен Семенович! Завтра у моей внучки день рождения. Приходите, пожалуйста! – Екатерина Марковна не ведала, откуда всплыла в ней эта идея, верней – как она вспомнила о дне рождения внучки, хотя это было истинной правдой. Слова высказались сами собой, как если бы их вынесло наружу какое-то течение.

– У вас есть внучка? – удивился Нуйкин. – Поздравляю! Сколько же ей?

– Завтра год, – ответила Екатерина Марковна (ее все еще продолжали смущать взгляды – *этакие* взгляды – из очереди). – Приходите, – повторила она и вот – улыбнулась. Робко, смущенно, но улыбнулась.

– Приду, – пообещал Нуйкин. – К которому часу?

– Ну, часам так к семи...

– Товарищи, ну сколько можно болтать в магазине? Работать надо, а не ляды точить! – заволновались в очереди.

– Спокойно, спокойно, товарищи, – проговорил Нуйкин, приподняв руку.

– До свиданья, – сказала Екатерина Марковна. – Так мы вас ждем. – И вышла из булочной.

На другой день точно в семь часов вечера Нуйкин позвонил в квартиру Екатерины Марковны. Дверь открыла хозяйка.

– Семен Семенович? Проходите, здравствуйте!

– Вот, примите, – Нуйкин протянул букет мимоз. – Поздравляю от всей души!

– Спасибо, – Екатерина Марковна несколько смутилась. Она тем более смутилась, что из коридора вышла молодая девушка и настороженно, цепко окинула Нуйкина взглядом. – Возьми, это тебе. – Екатерина Марковна протянула цветы девушке. – Семен Семенович нас поздравляет.

– Здравствуйтесь, – проговорил Нуйкин в явной робости.

– Здравствуйтесь, – ответила девушка довольно холодно.

– Познакомьтесь, – быстро заговорила Екатерина Марковна. – Это Тося, моя дочь. А это – Семен Семенович...

– Нуйкин, – добавил тот и даже как бы поклонился, что ли.

– Очень приятно, – сказала Тося, но настороженности своей к гостю не изменила.

– Ну, что же вы, раздевайтесь, – заторопила Екатерина Марковна Нуйкина. – Плащ вот сюда, шляпу сюда...

Прежде чем сесть за стол, Екатерина Марковна повела Нуйкина в спальную комнату. В детской кроватке, под красивым кружевным одеялом (в кружевах, конечно, был пододеяльник)

спала девочка: нос кнопкой – не в бабушку, губы пухлые – тоже не в нее, а вот цвет лица – темный, скорее, даже смуглый – точно шел от Екатерины Марковны.

– Нравится? – спросила она.

– Да. Хорошая девочка.

В дверях, в проеме, появилась Тося. Роста она была небольшого, худенькая, совсем девочка, только глаза – крупные, внимательные и, кажется, немало пережившие, узнавшие, что почем бывает на свете; так вот – внешне она как-то мало походила на женщину-мать, скорее, напоминала обиженную десятиклассницу или, в крайнем случае, первокурсницу института: так еще она была хрупка, юна, незащищена.

– Мама, ну ведь разбудите... – с укоризной, еле слышно прошептала она.

– Мы тихо, тихо. – И Екатерина Марковна увлекла за собой Семена Семеновича. – Мы только немного, посмотреть...

Сели пить чай; спиртного не было никакого, и Нуйкин мысленно поблагодарил Бога, который отвел его от мысли купить шампанское. Цветы – да, а на шампанское Нуйкин махнул рукой, вспомнив, как Екатерина Марковна спросила его когда-то: «Вы, наверное, выпить хотите?» – «Да, не отказался бы», – признался тогда Нуйкин. – «Вот этого как раз и не будет. Обойдетесь!» – «Да?» – удивился Нуйкин неожиданности ее логики. «А вы как думали? Пьянствовать будете у меня? Достаточно того, что притащились без всякого приглашения. И вот теперь он пришел по приглашению, но спиртного, слава Богу, с собой не захватил. И, как убедился, был прав – алкоголь тут не признавали.

Сели пить чай; торт, конфеты, вишневое варенье; разговор не клеился, Нуйкин терялся под настороженным, будто пронзающим взглядом Тоси. Наверняка она не одобряла решения матери пригласить в гости Нуйкина. Кто этот Нуйкин? Тося так и не добила от матери разумительного ответа.

Выручила всех Юля – видно, проснулась и, никого не увидев, испугалась, расплакалась. Тося бросилась в спальню.

– Я, наверное, стесняю вас, – сказал Нуйкин Екатерине Марковне.

– Ну что вы, – ответила она, – дело совсем не в этом. Просто Тося обижается...

– На вас? Из-за меня?

– Семен Семенович, ведь вы пришли на день рождения? А торт даже не попробовали...

– Да, да, конечно. – Нуйкин поспешно откусил кусочек. – О, вкусно...

Екатерина Марковна улыбнулась, но как-то печально, понимающе, что ли.

– Все дело в том, что, когда умер мой муж, я ничего не сообщила Тосе.

– Как же так? – Изумление Нуйкина было неподдельным.

– Ну, а что я должна была сообщить ей? Умер в постели любовницы? (Простите, конечно...) Приезжай? Да и каково ей было бы тут, приедь она сюда, во время этого гнусного похоронного позора.

– Но ведь отец все-таки.

– Отец... В том-то и дело. Я позже написала, конечно, объяснила... Она отца не любила, отчасти потому и уехала, из-за наших с ним отношений... Но – смерть есть смерть. Я понимаю Тосю: она в растерянности, никак не может выработать в себе верного отношения к случившемуся...

– А вот и мы! – В дверях кухни, улыбающаяся, появилась Тося, держа за руку дочь.

Юля стояла на ногах твердо, смотрела вокруг осмысленно и в то же время вопросительно: кто этот чужой дядя?

– Ну, иди к нам, – поманила ее бабушка. – Оп-ля!

Юля еще некоторое время стояла в нерешительности, словно думая: стоит идти или нет, раз около бабушки какой-то незнакомый, – но вот смело шагнула вперед и быстро потопала к бабушке, с радостным визгом ткнувшись, наконец, в ее колени.

– Ух ты, моя хорошая! – Екатерина Марковна подхватила ее на руки, затормошила, затискала так, что Юлия время от времени вскрикивала и заливалась тонким смехом.

И вдруг по колготкам ее заветвилась тонкая струйка...

– Ах ты, проказница! Ну-ка, пойдем менять штанишки... И не стыдно тебе, не совестно? При гостях? В день рождения? – Екатерина Марковна, шутливо-укоризненно покачивая головой, вынесла Юлю из кухни.

Нуйкин с Тосей остались одни. Семену Семеновичу было совсем неловко: молчать стыдно, а говорить – так и вовсе не знал о чем.

– Простите, конечно, – произнесла Тося, – вы, наверное, хорошо знали папу?

Нуйкин вздрогнул от этого вопроса.

– Не совсем... То есть, если откровенно, знал мало. Вообще не знал...

– Да-а? – удивленно протянула Тося. – Странно... Тогда, значит, вы мамин знакомый?

– Выходит, да. Совершенно верно. Екатерины Марковны.

– Понятно-о... – многозначительно произнесла Тося. И не только с удивлением, но и как бы с некоторой настороженностью оглядела Нуйкина с ног до головы. – И давно вы познакомились?

– Нет. Если честно, совсем недавно. С полгода назад...

– Понятно-о... – вновь многозначительно протянула Тося. – Но вы хоть знаете, что у нас случилось в семье? Что умер папа?

– Да, да, конечно. – Нуйкин не мог смотреть на Тосю, опустил глаза.

– Семен Семенович, у меня к вам просьба... Но только дайте слово, что ничего не расскажете маме?

– Ну, это само собой. Не беспокойтесь.

– Папа у нас был замечательный человек. (Нуйкин так и обмер от этих слов.) Замечательный. И мама глубоко переживает его смерть. Прошу вас, Семен Семенович, никогда не говорите с мамой на эту тему. Для нее это – незаживающая рана. Боль. Не нужно травмировать ее. Прошу вас!

– Ну что вы, Тося, что вы! Обещаю вам! Да мы и так никогда не говорим об этом. Зачем?..

– О, я смотрю, у вас тут оживленный разговор... Познакомились поближе? Ну и молодцы! – Екатерина Марковна, улыбаясь, ввела внучку за руку на кухню. – Ты бы вот о тайге Семену Семеновичу рассказала... Вы не представляете себе, Семен Семенович, как это, оказывается, интересно... и страшно. Правда, Тося?

– Бывает. Поначалу, – ответила Тося.

И тут спасительно зазвонил телефон. Тося вышла в коридор. И, вернувшись буквально через минуту, сказала Екатерине Марковне виноватым, просительным голосом:

– Мам, если я уйду ненадолго... Ты ничего?

– Ну, о чем разговор.

– Там у нас одноклассники собрались. Ведь не виделись сколько...

– Да иди, иди, господи! Нашла, о чем переживать! Иди! – Екатерина Марковна улыбнулась. – Справимся мы тут с проказницей Юлькой. Верно, Юлька? – Она потормошила внучку.

– Ну, я тогда побежала... Всего доброго, Семен Семенович!

– До свидания, – ответил Нуйкин. Он очень не хотел показывать Екатерине Марковне, что у них с Тосей состоялся какой-то тайный разговор. Интонация его голоса была самой нейтральной, обычная вежливость при прощании, не больше.

Остались одни. Екатерина Марковна усадила внучку за детский стол, положила ей пирожное на тарелку, налила в кружку-непроливашку теплого чая.

– Сколько Тосе лет? – спросил Нуйкин.

– В августе будет девятнадцать. А что?

– Совсем девчонка. А глаза – серьезные. Печальные даже.

– Помыкалась там. Говорю: оставайся дома. Не хочет. Поеду обратно – и все.
– А Юля?
– В том-то и дело. Умоляю оставить ее здесь. Пока не решили.
– А где она там живет?
– В зимовье.
– Это что такое? – Слово «зимовье» Нуйкин слышал не раз, но положила руку на сердце не знал, что оно из себя представляет.

– Ну, это избушка, что ли, такая. В тайге. В глухом лесу. Летние бывают избушки, зимние. Всякие. Живут они там все вместе, бригадами.

– Зимой холодно?
– Бывает, что очень. Но от Тоси мало чего добьешься. Все больше отмалчивается.
– Характер?
– Нелюдистой стала. Совсем не та, что уезжала. Прямо узнать не могу.
– Ба-ба, ма-ма, – лепетала за своим столом Юля. Сидела довольная, вся перемазалась в креме, что, видно, особенно нравилось ей. Бабушка не обращала внимания, не ругала.
– А что же она одна приехала? Без мужа? – спросил Нуйкин.
– Какой муж? – усмехнулась Екатерина Марковна. – Нет у нее никакого мужа.
– Нет мужа? – удивился Нуйкин. – Где же он?
– Да его и не было.
– Как это?
– Ну, Семен Семенович, вы что, первый день на белом свете живете? Дети и без мужей могут рождаться...

Нуйкин смотрел на Екатерину Марковну расширенными глазами. Не верил.

– И вы так хладнокровно говорите об этом?
– А что я должна делать? Мы с Тосей квиты.
– То есть? – не понял Нуйкин.
– Я скрыла, что умер Евграфов, она – что родилась Юля. Вот такие мы мать с дочерью!
– Да! – вырвалось у Нуйкина. – В каждом человеке что-нибудь обязательно неожиданное, непредсказуемое...

– Не говорите, Семен Семенович. – Екатерина Марковна произвольно взглянула на часы-кукушку, висевшие на стене.

– О, я уже засиделся, – по-своему воспринял этот взгляд Нуйкин. – Мне пора, пора...

– Да что вы, сидите. Это я к тому: надо бы с Юлей на улицу выйти. Погулять перед сном.

– Вот и хорошо. Вы как раз погуляете, а потом я потихоньку пойду к себе.

– Вы, кажется, говорили, что на Песчаной живете?

– Да, там.

– Ну, это совсем близко. Очень хорошо.

Екатерина Марковна умыла внучку, надела на нее теплые штаны, свитер, пальто, шапку с помпоном, меховые сапожки. В лифте Юля испуганно жалась к бабушке – не привыкла еще к московской чудо-юдо-технике.

Семен Семенович улыбнулся.

Выходя из подъезда, столкнулись с известной грозой округа Марком Захаровичем – он был, будто никогда не раздевался, все в том же долгополом, на манер шинели, пальто, с теми же тускло-золотыми пуговицами железнодорожника, и взгляд его оставался по-прежнему неусыпно бдительным, настороженным.

– Доброго вечера, уважаемая Екатерина Марковна! Доброго здоровьица! – Он приподнял руку как бы к козырьку, как бы отдавая честь, хотя на голове у него не было никакой фуражки, а так, потертая, заваливающаяся шапчонка.

– Здравствуйте, – ответила Екатерина Марковна. – Семен Семенович, помогите, пожалуйста!

Но Семен Семенович и без просьбы уже помогал ей – в четыре руки вынесли из подъезда коляску, в которой торжественно восседала именинница Юлька.

– Ух ты, пузырь какая! – пошевелил перед ней пальцами Марк Захарович. – А мамка убежала уже, убежала, а как же, видели, приметили, им, молодайкам, все нейметя, все не терпится по гулянкам, по волосатикам...

– Простите, Марк Захарович, нам некогда, – проговорила Екатерина Марковна.

– Доброго здоровья и вам! – как бы поклонился, что ли, Марк Захарович Нуйкину. – Значит, не забрали вас тогда в милицию? Поздравляю от души! Вот у нас так: пьяницу никогда не заберут, а честного человека – обсмеют да еще и плюнуть на него норовят. Это ничего. Это можно. А почему? А потому, что на посту...

Нуйкин покраснел. Хорошо, был вечер и никто, кажется, ничего не заметил.

Наконец отъехали с коляской от Марка Захаровича на безопасное расстояние. А он все стоял, смотрел вслед, покачивал головой то ли в восхищенном удивлении, то ли в осуждающем недоумении: «Смотри-ка, опять тот, который тогда... Ну, бабы! Ну, народ! Ну, шельмы!..»

Сначала молчали; не проходил неприятный осадок после встречи с Марком Захаровичем; одна Юлька безмятежно лопотала что-то в коляске.

– Простите, никогда не интересовался: вы кем работаете, Екатерина Марковна? – спросил Нуйкин.

– Библиотекарем.

– Понятно, – словно ставя точку над чем-то, что давно его мучило, проговорил Нуйкин.

Гуляли они по тем самым живописным улочкам, где расположились домики художников. Проходя мимо дома Хмуруженкова, которого, естественно, Екатерина Марковна хорошо знала, она поздоровалась с художником, увидев его во дворе; удивительней всего было то, что Хмуруженков отдельно поздоровался и с Нуйкиным.

– Вы знакомы? – удивилась Екатерина Марковна.

– Немного, – уклончиво ответил Нуйкин. – Клиент в булочной.

– Талантливый художник. Впрочем, испорчен... Такие, как мой муж, кого угодно развратят и испортят. Даже святого.

– А в какой библиотеке вы работаете? – прервал ее Нуйкин.

– В «Некрасовке». Хотите заглянуть?

– Нет, что вы... Это я так. Мне просто хотелось представить, где вы работаете, кем. Так легче.

– Что легче?

– Человека понять легче. Простите, конечно, Екатерина Марковна, не хочу вас обидеть... но я ведь понял, почему вы пригласили меня сегодня...

– А что тут такого? – бодро-приподнято произнесла Екатерина Марковна. – Взяла и пригласила вас на день рождения вот этой шалуны... – Она потормошила в коляске Юльку. – Так, проказница?

– Ба-ба, ба-ба, – лепетала в ответ внучка.

– Знаете, мне очень хочется сказать, что вы хорошая, – просто и прямо признался Нуйкин.

– Ой, ну что вы такое говорите! – смущенно воскликнула Екатерина Марковна.

– Я ведь видел, как вы растерялись тогда... Вы готовы были провалиться сквозь землю. Вам стало стыдно, что мужчина за кассой в булочной – ваш знакомый. Вы вылетели из магазина как обожженная. И я подумал: ну вот, еще с одним человеком ясно, чего он стоит. Я люблю узнавать правду о человеке, даже если разочаровываешься, даже если это приносит боль.

Екатерина Марковна, как совсем недавно сам Нуйкин, густо покраснела; одна надежда была – на вечер, на то, что в темноте стыд незаметен.

– Я, – говорила она, – дело в том, что я...

– А потом вы вернулись, – продолжал Нуйкин. – И я все понял. Я понял, что вы хороший, добрый человек. В вас есть главное – совесть. Спасибо вам, Екатерина Марковна.

– Ну что вы...

– И за этот вечер спасибо. Желаю вам, и дочке вашей, и внучке – счастья! А теперь я пойду... мне вот сюда... До свиданья! – И, не мешкая ни секунды, Нуйкин свернул в проулок и растворился в темноте.

– До свиданья... – прошептала растревоженная, удивленная Екатерина Марковна.

Лет десять назад, когда отношения Евграфова с женой еще были далеки от того, чем они стали впоследствии, у них состоялся один памятный разговор (Тося в это время была в школе), после которого правда каждого обнажилась четче и жить друг с другом стало трудней.

– Совесть у тебя есть? – спросила тогда Екатерина Марковна. (Какая жена у какого мужа не спрашивала об этом?!)

Евграфов решил отшутиться:

– Ну вот, как только какое-нибудь серьезное дело, начинаются упреки, подозрения... (Он и в самом деле – под видом обычной деловой встречи – собрался к очередной любовнице.)

– Как можно жить и лгать беспрестанно, безостановочно, будто это какая-то поэзия, правда, суть жизни?

Что-то в этих словах поразило Евграфова, он приостановился в прихожей, посмотрел на жену внимательно.

– А знаешь, ты это здорово сказала: что ложь – поэзия жизни. Поздравляю! Не всякий мужчина додумается до этого.

– Ну, еще бы! Ложь – поэзия жизни! Удобная философия для оправдания мерзостей, гадостей...

– А ты что хотела, – вдруг зло, с искаженным лицом зашипел Евграфов, – чтобы я ползал как червь по земле и исповедовал вашу философию? Будь добр, будь честен, будь вьючным ослом, пусть сидят у тебя на шее, пусть пинают под зад, скребись всю жизнь в одну щель, может, допустят в рай перед смертью, помрешь как агнец? Для кого тогда красота? радость? деньги? женщины? любовь? Или ты предлагаешь мне, как сделала это сама, превратиться в книжного червя, шелестеть страницами и упиваться созерцанием того, как жили другие люди – достойные, честные, правдивые, умные, талантливые? Так знай же: именно бездарные люди живут правильно, соблюдают мораль, гордятся нравственностью, кичатся потомством, при этом размножаются как жуки навозные: слепо, тупо, бездарно! Ты возьми любого, кто так или иначе выбился в люди, сделал себе имя, оставил след в искусстве. Кто это? Это люди, поправшие усредненную мораль, поправшие философствующее заблуждение: ах, не делай зла, ах, возлюби ближнего, ах, седи около женской юбки! Вспомни Сезанна, Гогена, Ренуара, Ван-Гога – разве это были добропорядочные люди с точки зрения общечеловеческой, усредненной, лицемерной морали? Гоген плюнул на семью, на пятерых детей, на хапугу-жену, уехал на Таити, стал жить с Майоркой, с дикаркой. И кто теперь осуждает его? Кто помнит теперь об этом? Теперь знают одно: Гоген – гений!

– Гоген – художник, – спокойно произнесла жена Евграфова. – А ты кто?

– А я – мужчина! – взорвался Евграфов. – Любой мужчина творец по своей сути. Творить – значит отвергать то, что признает большинство. Ты хочешь, чтобы я, как шавка, просидел у твоих ног, чтобы в конце концов меня благосклонно потрепали по облысевшей голове: ах, молодец, ах, пуделек, какой смиренный, какой послушный, всю жизнь просидел на задних лапках и ни разу не твякнул! Плевать я хотел на вашу философию! Плевать, ясно это?

– Ясно, – все так же спокойно проговорила Екатерина Марковна. Она потому была спокойна, что вдруг многое поняла в муже. Она думала: он гуляет, потому что просто гуляет, как все – как мужчина, как кот, а тут, оказывается, совсем другое, у него философия, убеждения, взгляды...

– Ах, дети, ну что вы так расшумелись? – В прихожую вышла Антонина Степановна (Тонечка). Вышла смущенная, улыбающаяся, седенькая, хрупкая, так и заносило ее из стороны в сторону на слабых ногах. Примечательной была еще одна черта: она носила всегда большущие тапочки, которые еле-еле держались на ногах, и эти тапочки шаркали, волочились, стучали об пол... Задолго до появления хозяйки тапочки обычно предупреждали: приближается Тонечка... А тут они и этого не услышали.

– Да нет, нет, ничего, – начала успокаивать Тонечку Екатерина Марковна.

– Вот-вот, – проговорил Евграфов, глядя на обеих с горячей злостью. – Давайте, успокаивайте друг друга, лейте елей, ну а как же – такие обе добрые, хорошие, чистые...

– Кант, прекрати! – вырвалось у Екатерины Марковны.

– О чем это вы? – не понимала Тонечка. В ту пору ей было под семьдесят, иногда плохо слышала, отчего часто – невпопад – улыбалась, стараясь показать, что все слышит, понимает. Тогда она еще жила с ними, верней – жила в своей комнате, а они – в своих двух: квартира была коммунальная.

– Ладно, пошел, – сказал Евграфов и хлопнул дверью.

– Что он сказал? – спросила Тонечка у Екатерины Марковны.

– Он сказал: всего доброго, он пошел.

– А-а, ну-ну... Кстати, Катенька, у вас не найдется лишней коробки спичек?

После рабочей смены Егор обычно уходил в чашобу, к берегу Неруссы-реки. Угрюмый, с печальными глазами, в которых, пожалуй, было больше боли, чем печали, Егор, с его густой черной бородой, с лохматыми кустистыми бровями, с никогда не причесанными непослушными волосами, производил впечатление замкнутого, странного, а иногда и страшного человека. Страшного своей нелюдимостью, замкнутостью, угрюмостью взгляда. В бригаде его побаивались – не силы его побаивались, не характера, не огромных жилистых кулаков, а тяжелого неподъемного взгляда. Уж если он что сказал, да не сделают, то так посмотрит... Бригадирское место он занимал по праву, лучше других знал дело, был сильнее всех – и физически, и характером – вот только работать с ним было не всегда легко: тепла не хватало, сердечности, душевного уюта.

Каждый вечер он уходил к Неруссе-реке; уходил один. И всякий раз либо сидел на перекатах с удочкой в руке – одного за другим таскал золотисто-пепельных хариусов, либо плел «морды» из ивняка и ставил их на тайменя в глубинных местах, в омутках и ямах Неруссы-реки. Рыбу он отдавал, конечно, в общий котел, а вот рыбачить сообща, бригадой, не любил. Такая душа – рыбалку признавал только в тиши, в одиночестве. Или тут была еще какая-то причина?

От ближайшего поселка строителей зимовье пряталось километрах в двадцати, не меньше. Жили обособленно – каждый день, даже каждую неделю, в поселок не находишься. Когда Тосю спросили: «Что умеешь делать? Варить умеешь?» – она кивнула почти машинально. «Ну вот, Егор, будет вам кашевар. Забирай девчонку», – и начальник отряда, будто отделившись от какой-то надоевшей ему мысли, с силой пожал Егору руку.

Тот смерил Тосю тяжелым взглядом. Ничего не сказал, ни о чем не спросил.

Когда шли к зимовью, глухой лесной тропой, Егор иногда останавливался, поджидал Тосю. Она отставала, в досаде на себя хмурилась. И злилась на Егора. Чемоданчик ее он нес в руке, но шел так, будто не было с ним никакой Тоси. Вот только иногда останавливался, поджидал ее.

В дороге сели перекусить. Егор сосредоточенно жевал бутерброд, Тося боялась встретиться с ним взглядом – бородатый, угрюмый, непонятный человек. С ближней ели на них с любопытством поглядывал бурундук. Тося никогда не видела бурундуков, смотрела с опаской, думала: вдруг это какой-то страшный зверь? Егор, поняв ее, усмехнулся, и бурундук, распушив хвост, метнулся на соседнюю ель, пулей взлетев в вершинник.

– После школы приехала? – спросил Егор.

Как бы ей хотелось ответить: нет, давно окончила, чего только не повидала, куда только не ездила! Да как такое скажешь?

Она кивнула: после школы, да.

– Издалека? – спросил он.

– Из Москвы.

Он посмотрел на нее повнимательней.

– Поехала жизнь узнавать?

– А что, нельзя? – спросила она с вызовом.

Он не ответил. Дожевал бутерброд. Подхватил чемодан и, не взглянув на нее, пошел тропой дальше.

В первую неделю она трижды испортила борщ. Трижды лесорубы уходили на просеку без первого. Колька Соловей откровенно спросил Егора:

– На хрена нам эта музыка?

Бригадир не ответил.

Через неделю, когда Соловей еще злей, чем прежде, повторил свой вопрос, Егор ответил:

– Небось ложку в первый раз тоже уронил.

– Чего-о?.. – не понял Колька.

– Мы только матку сосать сразу мастера. Остальное – через горб.

– Не понял. – Колька Соловей искренне ничего не понимал.

– Не понял – поймешь.

Тося все слышала в своем закутке. (Разговор шел в зимовье). Кусала губы. Легко было бросить все – мать, отца, Москву. Легко было уехать. А здесь тайга. Глушь. Ни одной родной души. Котел на двенадцать душ. И не борщ получается – пересоленная бурда какая-то. Как она жалела теперь, что не научилась у матери элементарному: готовить еду. Отца не любила. С матерью ругалась, спорила. А вот научиться щи варить – не хватило ума.

Если бы не Егор... Не будь его, вывели б ее из тайги в два счета. И куда потом?

...Через полгода она скажет ему: спасибо.

А он не поймет ее. Искренне не поймет. Пожмет плечами. Он давно все забыл. Да и трудно было помнить – она стала отменной поварихой. Как будто век такой была...

Каждый день Егор уходил на Неруссу-реку. За полгода, что она знала его, он не изменился. Все такой же угрюмый, неразговорчивый. На Тосю не смотрел. Один только раз, когда Колька Соловей попытался «познакомиться» с ней поближе (забрался к Тосе в закуток, она закричала), Егор сграбастал Кольку в охапку и вышвырнул из зимовья. Тосе сказал:

– Ты мне мужиков не порть.

– Да я же... он сам... – залепетала она.

Он взглянул на нее мрачней мрачного:

– Смотри! Рассыпется бригада – ты виновата будешь. Выгоню к чертовой матери!

– Да я... при чем тут я?..

– Я все сказал.

Этот их разговор все слышали в зимовье. И даже те, кто втайне примеривался к Тосе, с тех пор оставили думать о ней. Жили в работе. Работой. Валили лес в несколько пил. Сучковали. Колька Соловей чокеровал хлысты – Егор на бульдозере стаскивал их в огромные шта-

беля. Метр за метром тайга отступала, просека ширилась, продвигалась вперед. Когда-нибудь по ее руслу побежит железнодорожное полотно...

Каждый вечер, после рабочей смены, Егор уходил на Неруссу. Однажды Тося не выдержала. Пошла за ним следом. Сама не знала зачем. Непонятный, высокий страх душил ее. Когда она вышла к перекату, где он сидел, под ногой у нее хрустнул еловый сучок. Егор оглянулся. В это время хариус хватанул кузнечика, Егор дернул удочку, и сиренево-золотистый хариус упал прямо Тосе под ноги.

Хариус бился около ее ног; Егор смотрел на Тосю, она смотрела на него.

– Отцепи-ка рыбину, – сказал он. И как будто усмехнулся при этом.

Она присела, слепо нащупала руками хариуса, сдернула его с крючка, а сама продолжала смотреть на Егора.

– На, – протянула она ему хариуса.

– Брось в ведро, – приказал он; насадил нового кузнечика и забросил наживку в Неруссу.

Она стояла сзади него; он не обращал внимания, продолжал следить за поплавком. Время от времени резко выдергивал лесу из воды и тут же забрасывал снова. Она присела рядом с ним, обняв ноги руками, положив голову на колени. На той стороне Неруссы, на крутом каменистом берегу, высился расщепленный молнией кедр; в голых его, засохших ветвях, будто в паутиной сетке, стлыло закатное солнце.

– Ты презираешь меня? – спросила Тося, сама удивившись своему вопросу. Еще секунду назад она не знала, что хочет сказать ему, и вообще – о чем говорить с ним, – тоже не знала.

Он даже не покосился на нее, выдернул из Неруссы очередного хариуса.

– Значит, презираешь, – вздохнула она.

Он и на это ничего не ответил.

– Знаешь, спасибо тебе, – сказала она. – Мне давно хочется сказать тебе: спасибо.

Вот тут он взглянул на нее. Но опять ничего не сказал, только пожал плечами.

– Если бы не ты, – продолжала она, – меня давно бы выгнали отсюда. Ты вспомни, какой я борщ варила! – Она прыснула. Смех ее был взволнованный, он душил ее.

– А почему ты такой одинокий? – неожиданно оборвала она смех; голос ее дрожал.

– Никогда! – сказал он. Сказал зло, сосредоточенно.

– Что никогда? – не поняла она; кажется, у нее даже зубы стучали друг о друга.

– Никогда не будет по-твоему!

Она смотрела на него во все глаза. Она не понимала.

– Иди в зимовье, – приказал он. – И чтоб не шлялась за мной!

Она хотела рассмеяться, но только нервно всхлипнула. Она смотрела на него со страхом.

– Все, – сказал он. – Иди! – И взглянул на нее побелевшими глазами; черная его борода пенилась проседью.

Но она не могла подняться, ноги не слушались ее; сидела, чувствуя, как душа сладко и горько кипит от боли, обиды и любви.

– Иди! – твердо повторил Егор.

Шатаясь, она наконец поднялась на ноги и слепо шагнула в сторону. Она отступала спиной, продолжая смотреть на него; но он ни разу не обернулся.

Зайдя в чашу, она, не сдерживая себя, громко разрыдалась; она ничего не понимала в себе; такой боли и унижения еще не случалось в ее жизни. Ее будто током било, так сотрясалось все тело, плечи, руки...

В зимовье она вернулась затемно.

Через месяц она забеременела. Через четыре месяца об этом узнали все. Бригада не верила своим глазам.

– Кто? – спросил Егор. Он выставил всех из зимовья, посадил ее напротив себя и сверлил глазами. – Кто?! – закричал он.

Она не смела смотреть на него.

– Ну?! – он так хлопнул кулаком по нарам, что на другом конце жердин подпрыгнула подушка и свалилась на пол.

– Не наши, – прошептала она.

– Кто, кто? – как в заклинании повторял он.

– Помнишь, я была в поселке...

– Когда? Только не врать! Убью!

– Ну, тогда... после того, как я приходила к тебе на Неруссу. Когда ездила потом в поселок, за продуктами.

– Ну?!

– Там все и случилось...

Он смотрел на нее как на сумасшедшую. Не верил. Не мог и не хотел верить.

– Кто он? – снова спросил он, на этот раз совсем тихо.

– Кажется, студент. Из Ленинграда. Они там ехали дальше, на восточный участок, кажется. Пригласили меня. Выпили. Я толком не помню ничего...

– Дура! – закричал он. – Дрянь! Учти, будешь рожать. Рожать будешь!

– Буду, – покорно согласилась она.

– Будет она! – взвился он. – Да ты хоть понимаешь, что наделала?! Мы ее берегли, берегли, а она...

– Я не знаю... я сама не своя была... Я назло, нарочно...

Они посмотрели друг другу в глаза. И все стало понятно теперь. Но было поздно. Поздно...

Рожала она в поселке. Потом Юльку забрали в зимовье. Воспитывали бригадой. Нянчились по очереди.

Ропота никакого. Никогда.

Говорили так: наша Юлька, бригадная.

Каждое утро Екатерина Марковна отводила Юльку в ясли, каждый вечер забирала ее. И будто спала туманная пелена с жизни. Крутилась, вертелась, уставала, но словно глотнула свежего воздуха. Помолодела, подобралась в теле, как если бы расцвела еще одной, более зрелой, женственностью.

Ясли находились на Песчаной, и нет ничего удивительного, что однажды Екатерина Марковна с Юлькой столкнулась с Семеном Семеновичем. С момента последней встречи прошло месяца два с половиной.

Лето. Вечер. Душно в Москве.

Нуйкин поминутно вытирал пот со лба чистым, свежо пахнущим одеколоном платком.

– А Тося уехала, – как какую-то очень радостную весть сообщила Екатерина Марковна.

– Уговорили ее оставить Юльку в Москве? – спросил Нуйкин.

– О, вы догадливый! – рассмеялась Екатерина Марковна. – Если б вы знали, скольких трудов это стоило!

Нуйкин поманил Юлю на руки:

– Ну, пойдешь к дяде в гости?

Юля настороженно-вопросительно посмотрела на бабушку. И покрепче ухватилась за ее ладошку.

– Кстати, вот здесь я и живу, – показал Нуйкин на дом. – Не хотите заглянуть? Правда, на посторонний взгляд у нас не совсем, конечно...

– Право, не знаю, – заколебалась Екатерина Марковна.

– Ну, как хотите, – проговорил Нуйкин; он не обиделся, нет, просто сказал, как сказалось, а ей послышалось, будто он обиделся, и она тут же добавила:

– Впрочем, можно, конечно. Правда, Юлька?

Юля важно кивнула, хотя вряд ли понимала, о чем вообще идет речь.

– Угощу вас знаете чем? Фирменным кексом! – пообещал Нуйкин.

Они вошли в подъезд мрачного, тяжелого в своих архитектурных излишествах дома, в котором, чувствовалось, жили не простые жильцы. Жили избранные.

Дверь, в которую Нуйкин вставил ключ, находилась на первом этаже, сразу, как только пройдешь вахтера и поднимешься по мраморной лестнице с перилами из чугунного литья. Квартира, однако, оказалась совсем крохотной; даже, наверное, и квартирой ее назвать было нельзя – небольшая комната и чуть левой от прихожей – кухня; больше похоже на подсобное помещение или на жилье для сторожа.

– Не удивляйтесь и не пугайтесь, Екатерина Марковна, – предупредил Нуйкин. – Здесь живет мой друг, холостяк. Вот позвал меня к себе. Живем теперь вдвоем...

Увидеть всего этого Екатерина Марковна никак не ожидала. Посредине комнаты стоял круглый, даже не полированный, а просто крашенный, самый запростецкий стол; четыре табуретки самодельного изготовления, диван, старинный обшарпанный буфет, деревянная кровать, на которой вместо матраца, было видно, настелены доски, поверх досок – тряпица, не тряпица – простыня, ну а дальше – одеяло, две подушки, накидка. Что еще? Окно (комната слепая, темная, мрачная) занавешено простенькой шторкой. Еще что? Из обстановки, пожалуй, все. Но главное – книги: везде, где только можно, лежали то стопкой, то грудой, то небрежно разбросанные, то аккуратно сложенные книги, книги, книги...

– Чем занимается ваш друг? – удивленно спросила Екатерина Марковна.

– Сережа-то? Сережа – сторож, – ответил Нуйкин. И тут же, почти без перехода: – Вы располагаетесь, Екатерина Марковна. Я сейчас... чай поставлю... И кекс... Вот, это главное – фирменным кексом вас угощу! Я же обещал!..

Непонятно, что имел в виду Нуйкин, называя кекс «фирменным». Когда сели пить чай, кекс оказался самым обычным, заурядным, в любой булочной такой продается.

– А что за секрет в вашем кексе? – поинтересовалась Екатерина Марковна.

– Как что за секрет? – удивился Нуйкин. – Это же кекс из булочной, где я работаю!

– Ах, вон что, – рассмеялась Екатерина Марковна. Юля, глядя на бабушку, рассмеялась тоже, хотя наверняка не понимала, почему бабушка смеется.

Рассмеялся и Нуйкин:

– Ловко я вас поймал на крючок?

– Даже и не знала, что вы шутить умеете. Как-то непохоже на вас.

– А многое ли в нас похоже на то, какими мы являемся в действительности?

– В самом деле, – согласилась Екатерина Марковна. – Юлечка, хочешь посмотреть картинки в книжке?

Юля кивнула.

– Да, да, верно, – восторженно воскликнул Нуйкин. – Сейчас мы тебе подберем. Сейчас... – Он взял Юлю за руку, она теперь не сопротивлялась, подвел к книгам. – Вот эту хочешь? И вот эту, да? А вот эту? Ну и умница. Садись, вот сюда, смотри картинки, только аккуратно. Хорошо?

Юля кивнула.

– Семен Семенович, вы, наверное, скучаете по дочери? – спросила Екатерина Марковна.

Нуйкин ответил не сразу. Собственно, он как бы вообще ничего не ответил, пробормотал нечто неопределенное.

– Сколько ей лет? Большая? – продолжала Екатерина Марковна.

– Девять. В этом году в третий класс пойдет.

– Большая девочка, – задумчиво произнесла Екатерина Марковна. – Как это ужасно, когда рушатся семьи... Вы хоть видите с дочерью?

– Нет, – ответил Нуйкин.

– Не видите с дочерью?! – воскликнула Екатерина Марковна. – Но это же нехорошо!

– Видите ли, она живет с бабушкой, с моей тещей, а Марьяна Иоанновна меня не признает.

– Почему? Из-за ваших отношений с женой?

– Да как вам объяснить, чтобы было понятней... – замялся Нуйкин. – Если быть откровенным до конца, дочь-то мне неродная. Я женился на Жан-Жанне, когда у нее уже была Барбара. Конечно, я ее удочерил, но теперь это не имеет никакого значения. После развода теща знать меня не желает, к дочери не подпускает. Говорит: вы ей никто, забудьте ее!

– Постойте, но вы, кажется, платите алименты?

– Плачу.

– За неродную дочь?

– Родная или неродная, она моя дочь, я ее отец.

– А эта ваша... жена, – споткнулась Екатерина Марковна. – Она что же? Как она относится ко всему этому?

– Жан-Жанна? Спокойно получает алименты. Радует, наверное.

– Как это?

– Ну как... Деньги до Барбары не доходят. Дочь живет с бабушкой, а Жан-Жанна – сама по себе. Все деньги, правда, не ахти какие, тратит, конечно, на себя.

– И вы платите? Несмотря на то, что знаете правду?

– Плачу.

– Нет, вы странный человек... Вы же этим только развращаете жену!

– Ее уже ничем не развратишь. Я исполняю свой долг, остальное меня не касается.

Некоторое время молчали; только что-то лопотала Юля в своем углу, рассматривая яркие картинки.

– А как вы здесь-то оказались? И кто этот Сережа? – заинтересовалась Екатерина Марковна. Ее удивляло обилие книг, хотя комната сама по себе была странная, если не убогая.

– Сережа – сторож. Мой друг. Я ушел из дома, и он позвал меня к себе. Живем теперь вдвоем.

– Странно... А как же ваша квартира? Ведь у вас была какая-то квартира? Ну та, в которую ходил Евграфов...

– Я развелся и ушел оттуда. Там осталась Жан-Жанна.

– Выходит, это ее квартира?

– Нет, квартира моя. Она досталась мне после смерти родителей. Когда мы поженились, Жан-Жанна уехала от матери и прописалась у меня. А дочку оставила у Марьяны Иоанновны.

– У вас была своя квартира? – удивилась Екатерина Марковна. – Ваша?

– О, когда-то я был богатый человек, – улыбнулся Нуйкин. – Жан-Жанна знала, за кого выходить замуж.

– Богатый? В каком смысле? – не поняла Екатерина Марковна.

– В каком смысле люди бывают богатые? – усмехнулся Нуйкин. – В том смысле, что было много денег, например.

– У вас?! Откуда?

– Я и раньше работал продавцом. Да только продавцом совсем в другом роде.

– Что-то не понимаю...

– Чего тут понимать... Работал в мясном отделе.

– Ах, вон что, – кивнула головой Екатерина Марковна. – И вы хотите сказать...

– Да, именно это. – Нуйкин не стал ждать, когда она договорит фразу. – А потом я устал. Устал от лжи. От презрения к самому себе.

– Непохоже все это на вас... Может, вы наговариваете на себя?

– Похоже, прекрасно похоже! Вы думаете, это легко – постоянно осознавать себя подлецом?! Вот вы пришли ко мне в магазин, вы, женщина, мать, улыбнулись мне, я улыбаюсь в ответ, я заворачиваю вам мясо, вы уходите, потом старушка какая-нибудь совсем дряхлая, потом девочка, потом мужчина, и так целый день, весь день крутишься, как белка в колесе, и каждого обманываешь, хоть на сколько-то, но обманываешь, потому что тебе нужно якобы жить, нужны деньги, семье нужны деньги, жене, теще, дочери, всем – деньги, деньги... А потом оглянешься: куда деньги-то идут? Жене на тряпки? На тряпки, которых у нее чем больше, тем она больше и больше хочет иметь их? На золотые побрякушки? На груды посуды, от которой ломятся шкафы и буфеты? На картины теще, в которых, подозреваю, она ничего не понимает, а только делает вид, как делают вид многие, что что-то знают об импрессионизме, модерне, классицизме... Куда идут деньги? В серьги? В безделушки? В престижные вещи? Добытые лживым путем, деньги и не могут идти в иное дело, кроме как в фальшь! Одно связано с другим. Ты ворует, развращаешь себя, жену, семью, дочь и самым натуральным образом живешь лживой лицемерной жизнью. И потом вообще странно: один ворует, а другой этим пользуется. Как пиявка, сидит на теле и сосет, сосет тебя... И вдруг оглянешься однажды: да что это такое?! Что за жизнь? почему? для чего? куда она ведет? в пропасть? в бездну?... Но что началось, когда я попробовал разом изменить эту жизнь! Я превратился в изгоя, в дурака, в мерзавца, в слюнтяя, в мозгляка. Только я ушел из мясного отдела, как жена демонстративно, на моих глазах, завела шашни с Иваном Карловичем, заведующим соседним магазином. Тоу меня не переводились деньги, верней – деньги не переводились у жены, а теперь вдруг твердый, непривычный оклад в 110 рублей. И как сразу изменилась теща! Куда девались ее воспитанность, деликатность, культурный слог, изысканные манеры! Она стала смотреть на меня, как сквозь стекло: смотрит, но не замечает. А как иначе: ведь ей надо было покупать хрусталь, фарфор, старинные вещи, копии картин импрессионистов, каждая из которых стоит от двухсот до пятисот рублей, в зависимости от имени художника и размера полотна, а тут вдруг зять, эта бездонная денежная бочка, этот кретин и идиот, лишил ее духовной жизни, лишил всего: смысла, цели, наслаждения! Как она могла иначе отнестись ко мне, кроме как к предателю и неврастенику? И что другое могла она внушать внучке, которую держит в строжайшем повиновении? И не только в повиновении, но и в почитании к самой себе, к своим вкусам, идеалам, представлениям? Какой же искривленный человек вырастет из дочери, когда она сможет осознать самое себя! И, наконец, жена... О, она сначала думала, она надеялась, что это у меня блажь, дурь, временное, пройдет... А потом, когда увидела, что нет, тут что-то другое... как она возненавидела меня! Как хотела побольней уколоть, уязвить, как хотела уничтожить, стереть в порошок! И тут как раз этот случай с Евграфовым... Простите, с вашим мужем, Екатерина Марковна... Я хотел только одного: побыстрее развестись с женой. Но я не мог этого сделать! Удочерив Барбару, я мог развестись с женой только через суд. А жена развод не давала, боялась за квартиру, за тряпки, за вещи... А я не мог ее видеть! Я должен был развестись как можно быстрее. Немедленно! Мне нужен был сильный довод для суда... И вот я пришел тогда к вам за помощью. Но вы не поняли меня, оскорбились...

– Но я ничего не знала, – голос у Екатерины Марковны дрогнул.

– Я понимаю. Я все понимаю, – торопливо заверил ее Нуйкин. – Но у меня не было тогда ничего. Все отвернулись от меня. И я пришел к вам... Вы – единственная женщина, которая могла мне помочь. Но ничего не вышло, сорвалось. И я терпел эту пытку еще три месяца.

– Вы говорите, у вас есть друг, Сережа. Разве он не мог помочь?

– Он – не мог. У него нет знакомых женщин, которые могли бы сыграть такую роль. И потом, Сережа – это вообще другое. Как бы вам объяснить. Совсем другое...

Тут неожиданно расплакалась Юля. Екатерина Марковна бросилась к ней.

– Что ты? Что с тобой? – Она подхватила ее на руки. – Ну, что за слезы такие? – Кончиком платка Екатерина Марковна вытирала Юлины слезы, которые крупными горошинами текли по щекам. – Видно, устала, – сказала Екатерина Марковна Нуйкину. – Или ей скучно стало. Мы говорим, говорим, и вот она заскучала... или испугалась...

– Да, да, конечно, – виновато-потерянно произнес Нуйкин. – Простите, заговорил вас.

– Мы, пожалуй, пойдем, – сказала Екатерина Марковна. – Правда, кнопка? – И она нажала Юле на кончик носа.

Юля, будто и не было никаких слез, восторженно рассмеялась, продолжая по инерции время от времени всхлипывать.

– Я провожу вас, – встрепенулся Нуйкин.

Предвечерняя духота на улице спала; недавно прошел легкий дождик, и воздух дышал свежестью, ароматом цветов на Песчаной, душистыми тополиными листьями, влажным ветром...

Нуйкин хотел было забрать Юлю у Екатерины Марковны, подхватить на руки, но девочка запротестовала.

– Нет, нет, что вы, – сказала Екатерина Марковна. – Сейчас она не пойдет. Рассердилась.

– За что? – удивился Нуйкин.

– Э, никогда не поймете. Так уж устроено женское сердце. – Екатерина Марковна вновь нажала Юле на нос, и та рассмеялась восторженней, чем прежде.

Шли к дому Екатерины Марковны различными переулками и закоулками.

– Чем же у вас все закончилось? – спросила Екатерина Марковна.

– Развелся и ушел от жены. Ничего мне не нужно – никаких денег, никакого богатства. Все это – страшная, изнуряющая ложь и глупость.

– Но без денег все-таки нельзя, – сказала Екатерина Марковна.

– Разве я живу без денег? Я устроился в хлебный магазин, сел именно на кассу, чтобы даже и возможности такой не было – воровать, хапать, присваивать, зарабатываю 85 рублей, и мне вполне хватает.

– 85 рублей?! – удивилась Екатерина Марковна. – Но ведь из них вы платите еще алименты?

– Да.

– Как же вы живете на такие деньги?

– Обыкновенно. Не так уж много нужно денег, чтобы жить честной жизнью. Это все только кажется, что нам не хватает денег. На жизнь – хватает, на пресыщение – не хватит никогда.

– И вы ничего не взяли у жены? Ну, не у нее, конечно, а из своей квартиры? Ведь там многое принадлежит вам.

– Мне ничего не нужно.

– Станный вы человек, – задумчиво проговорила Екатерина Марковна. – Если бы я не знала вас, я бы не поверила, что такие люди бывают на свете.

– Таких, как я, сколько угодно. Только они не на виду. Их не замечают.

– Муж всегда меня ругал, что я идеалистка. Я защищала что-то похожее на то, о чем говорите вы. Но он почти уверил меня, что такого не бывает в жизни. Я ругалась с ним, но душой изнывала: вдруг он прав? Это ужасно, когда любую настоящую веру, любую правду топчут ногами. Смеются над ней. Перестаешь верить во что-либо святое...

– Вся вера внутри нас, – убежденно произнес Нуйкин. – Если она есть, ее никто не в силах погасить.

– Кто это сказал? – Екатерина Марковна и в самом деле подумала, что это сказал кто-то из великих. Толстой, например. Во всяком случае, очень похоже.

– Это сказал Сережа. Мой друг.

– Кто он – этот ваш загадочный Сережа? – улыбнулась Екатерина Марковна.

– Сережа – сторож.

– Ах, ну не хотите говорить – не надо. Я же чувствую, что он не совсем простой человек...

Откуда у него столько книг?

– Единственное, что у него есть, – это книги. Больше ему ничего не нужно.

– И вам?

– Я пока не дошел до этого. Мне далеко до Сережи. Сережа – это хрустальная совесть.

Это – свет. Это – чистота.

– Ну вот, опять мы пришли к нашему дому. – Екатерина Марковна показала рукой. – Что же вы никогда не заглядываете к нам? Хотя бы позвонили, Семен Семенович.

– Да как-то неудобно.

– Ну что вы, в самом деле... Звоните, заходите!

– Да, да, спасибо.

– И потом... мне хочется сказать вам... в прошлый раз вы так тепло отозвались обо мне...

Мне хочется сказать вам: не отчаивайтесь, не переживайте. Вы хороший, добрый человек. Вы должны быть счастливы!

– Да, да, спасибо... До свидания, Екатерина Марковна. – И Нуйкин поспешно отступил назад, пошел в свою сторону.

Вслед ему, конечно, смотрела не только Екатерина Марковна, не только махала на прощание рукой Юлия, но и бдительно, настороженно исследовал его спину вечный страж порядка и морали Марк Захарович в длиннополом своем, несмотря на лето, суконном пальто.

За день до того, как Евграфов пошел умирать к Жан-Жанне, он выехал на «Жигулях» из Москвы. Впрочем, он делал это каждую неделю, всегда по воскресеньям, без каких-либо изменений или внутренних отговорок. Евграфов любил сдерживать слово, даже если оно дано не кому-то другому, а только самому себе. Пунктуальность – признак настоящего мужчины.

С Садового кольца Евграфов свернул на Кутузовский проспект и очень скоро выехал на Минское шоссе. Он любил это шоссе. Просторное его полотно, окруженное с обеих сторон вековыми елями, всегда чистыми, как бы умытыми (недаром говорят – вечнозеленое дерево ель), полотно этой дороги вносило в душу Евграфова успокоение, а может, и большее – умиротворение. Он всегда включал музыку, и вот так, посвистывая или напевая понравившуюся мелодию, на большой скорости мчался по стремительной нитке шоссе.

Несколько человек пытались «голосовать» на пути Евграфова; на мужчин он не обращал внимания; на женщин старше тридцати пяти тоже не реагировал; но когда впереди замаячила тоненькая фигурка девушки, в джинсах, в короткой модной куртке, с корзиной в одной руке и с сумкой – в другой, Евграфов, не колеблясь, плавно нажал на тормоза. Чуть повернул к обочине и с молодецким шиком остановился прямо у ног девушки.

– До Ивановки не подвезете?

Ни слова не говоря, Евграфов широким жестом распахнул дверцу: садитесь, о чем разговор!

Когда Евграфов подсаживал молодых девушек, он никогда не начинал с ними разговор сразу. Он давал им возможность прийти в себя, привыкнуть к дороге, вслушаться в музыку, осмотреться по сторонам и, наконец, расслабиться, почувствовать себя удобно, уютно в голубоватой машине, за рулем которой сидит, кажется, неплохой дядька, не пристаёт, ни о чем не спрашивает, не лезет в душу. Правда, славный дядька, хоть и староват, кажется? И начинаются тайные поглядывания на него, примеривания взглядом... Именно так повел себя Евграфов и с этой девушкой; и вот она наконец привыкла к машине, к Евграфову, к дороге; ей нра-

вится музыка; и вообще славно мчаться по прекрасной дороге на личной машине, о, это совсем не то, что на общественном транспорте в битком набитых автобусах...

– В Ивановку на дачу? – спросил Евграфов как можно более нейтральным голосом.

– Нет, домой, – охотно ответила девушка.

– Вы там живете? – удивился Евграфов.

– Да. А что тут такого?

– Как-то не похожи вы на деревенскую девушку.

– А я и есть не деревенская девушка, – улыбнулась попутчица.

– Ах, ну да, конечно, – подхватил Евграфов. – Я это сразу понял.

– Я из Брянска, – сказала девушка. – И надо же было такое выкинуть – вышла замуж за ивановского парня.

– Разлюбили уже, что ли?

– Я-то вроде нет, а вот он...

– Что он?

– Да представляете, по неделям дома не ночует.

– Во дает! – рассмеялся Евграфов.

– Было бы смешно, не будь у нас дочки.

– И как же вы живете?

– Так и живем. Я с дочкой, а он Бог знает где пропадает.

– А работает кем?

– Трактористом.

– О, парень, значит, разбирается в двигателях... Между прочим, знаете, с кем вы сидите?

– Нет, а что? – И столько было простодушия в ее вопросе, столько искренней заинтересованности, что Евграфов улыбнулся. Ободряюще так улыбнулся.

– Вы сидите рядом с человеком, который открыл тайну «вечного двигателя». Слышали о таком двигателе?

– Конечно. В школе проходили.

– Вот именно – проходили. Прошли – и забыли. А мне, между прочим, принадлежит мировое открытие в этой области.

– Ой, ну будет вам! – рассмеялась девушка. – Какое такое открытие? Что-то не похоже на вас...

– Любовь – вот что такое «вечный двигатель».

– Ну, какое это открытие, – скривила губы девушка. – Это-то открыть каждый может.

– Каждый, да не каждый, – торжественноназидательно произнес Евграфов. И начал развивать свою теорию. Поскольку девушка была замужем и знала тонкости любви, Евграфов смело развертывал перед ней картины великого открытия. А когда он сказал про особый прибор, который человечество должно обязать каждого семьянина привязывать к ноге, девушка прыснула и про себя подумала: «Господи, какой дурак!» Евграфов, не обращая внимания на ее смех, изложил свою теорию до конца.

– Но это же глупость какая-то, – сказала девушка, и не думая, конечно, щадить Евграфова.

– Да?

– Да!

Евграфов озабоченно покосился на девушку – она смело встретила его взгляд, – помолчал секунду-другую и неожиданно рассмеялся:

– Смотри-ка... А я думал – я гений.

– Ну, конечно... Вы шутите. Правильно я поняла?

– А черт его знает! Вроде не шучу, а получается – никто не верит. Значит, шучу.

– Ой, кстати, вон поворот на Ивановку! Не проскочите, пожалуйста. Высадите меня.

– А хотите, подброшу вас прямо к деревне?
– Ой, нет, нет, что вы! – запротестовала она.
– Бойтесь?
– А как же? Вдруг увидит кто-нибудь. Подумают всякие глупости. Деревня все-таки...
– Значит, муж гуляет – можно, а вам гулять ни в какую нельзя?
– Разумеется.
– Разумеется? – изогнул бровь Евграфов.
– Конечно! Чего тут удивительного? Мужчина – это одно, а женщина – совсем другое.
– Ах, вот бы вы сказали эти золотые слова моей жене! – И Евграфов, нажав на тормоза, остановился недалеко от стрелки, показывающей поворот на Ивановку.

Девушка вылезла из машины, стройная, молодая, со смеющимися глазами, сказала ему кокетливо-озорно (теперь можно быть смелой, она в безопасности):

– Спасибо вам большое! Желаю вам сделать настоящее открытие.
– Эй, постойте! – крикнул Евграфов. Он и сам не знал, что с ним происходит. Ему хотелось быть легким, щедрым, добрым. – Вы знаете, кто я такой? Я художник.
– Вот это больше похоже на правду, – рассмеялась девушка.
– Хотите, я нарисую ваш портрет? Прямо сейчас, вон в том лесочке? На фоне вековой ели?
– Зачем же в лесочке? – она насмешливо качала головой. – И потом, я совсем не та, чьи портреты рисуют художники.

– Вы та! – клятвенно заверил Евграфов. – Вы именно та!
– Ну, я пошла, – ускользала она. – До свиданья. Еще раз – большое спасибо!
– Постойте же! – крикнул Евграфов. – Я хочу подарить вам свою картину.
– В самом деле? – Она, честно говоря, смотрела на него с недоверием.
– Да, в самом деле. – Евграфов поспешно вылез из «Жигулей», открыл багажник и, развернув холстину, вытащил из груды картин копию «Обнаженной» Ренуара. – Вот, – протянул он девушке. – Возьмите. Это мой подарок.
– Это ваша картина? – Удивление ее было искренним и, самое главное, глубоким.
– Да, конечно. – Евграфову не было жалко копии, хотя она стоила немалых денег.
– И вы сами нарисовали ее? – щеки девушки, как и щеки «Обнаженной» Ренуара, пылали румянцем.

– Разумеется. – Евграфов вытащил из кармана записную книжку, размашисто написал телефонный номер и, вырвав страницу, протянул девушке. – Если захотите найти меня, позвоните по этому телефону.

Она не протянула руку, потому что обеими руками крепко держала копию «Обнаженной», любуясь ею (и несколько стыдясь этого, конечно). Тогда Евграфов сам положил листок поверх «Обнаженной».

– Счастья вам! – Сел в машину, хлопнул дверцей и сорвался с места на большой скорости. В боковое зеркальце он еще долго видел, как девушка стоит на обочине и провожает взглядом «Жигули». Евграфов усмехнулся.

Вскоре девушка исчезла из поля зрения, и Евграфов, увлеченный дорогой, даже, кажется, вовсе забыл о ней.

У Дорохова он свернул с шоссе на местную дорогу и поехал по направлению к Рузе. Где-то вот-вот должен был открыться поворот в нужный ему Пансионат.

И он открылся, и Евграфов с легким сердцем нырнул в глубину леса.

Антонина Степановна (Тонечка) уже поджидала его. Всякий раз, в воскресенье, примерно в это время, она выходила на дорогу, высматривая вдалеке голубые «Жигули» Евграфова. И, когда наконец дожидалась, радовалась Евграфову, как дитя, улыбалась ветхой, старческой, но такой осиянной, горячей улыбкой.

– Ах, Кант, – как обычно, сказала она, – я, право, начала беспокоиться. Дороги нынче такие страшные, такое напряженное движение, а тебя нет и нет...

– Ну что ты, Тонечка, какое там движение. Шоссе почти пустынное, – улыбнулся Евграфов. – Давай садись...

Евграфов называл Антонину Степановну «Тонечкой», так было удобней, привычней, хотя шел «Тонечке» восьмой десяток.

Антонина Степановна села в машину, и в пять минут они подъехали к главному корпусу Пансионата. В сущности, это был обычный дом престарелых, но именовался он почему-то Пансионатом, причем с большой буквы.

Евграфов, как обычно, вытащил из багажника плетеную корзину, прикрытую сверху серой холщовой тряпицей.

– Ох, ну опять ты за свое, – с неудовольствием проговорила Антонина Степановна, хотя неудовольствие ее было показное, нарощенное. – Сколько можно просить тебя, Кант!

– Ничего, ничего, Тонечка. Римские полководцы знаешь сколько за неделю съедали? Быка, теленка, поросенка, гуся, утку, курицу и, наконец, жареную лягушку.

– Про лягушку явно придумал... сознайся, а? – Антонина Степановна смотрела на Евграфова с лукавой хитрецей.

– Про быка придумал. Про теленка, поросенка, гуся, утку, курицу придумал. А про лягушку – нет.

И они вдвоем, как старый и малый, охотно рассмеялись.

Комната Антонины Степановны была на первом этаже. Дежурная в вестибюле, из которого, как из пруда, в две стороны по длинным светлым коридорам растекались бархатно-зеленые чистые ручейки-дорожки, почтительно кивнула Евграфову, как давнему, старому знакомому.

– Ну, как тут наши старушки, не шумят, не балуют? – шутливо спросил Евграфов.

– Ну что вы... Все хорошо, все хорошо.

Из окна Тонечкиной комнаты открывалась широкая, сердце захватывающая панорама. Архитектор, задумавший построить здесь Пансионат, наверняка родился на свет с поэтической душой. Пансионат, как драгоценный камень в перстне, был вправлен в ландшафт так, что возносился над всей местностью. Вниз от Пансионата растекались леса, густо-зеленые и темные от вековых елей, в которых островками пылали по осени огненные липы, а иногда, но гораздо реже, чем липы, желтели березы, как бы еще более оттеняя могучую зелень еловых и сосновых лесов. Леса эти неожиданно, в глубокой низине, обрывались рекой, которая казалась отсюда, сверху, то голубой, то зеленой, то серой сверкающей лентой, небрежно брошенной с небес на землю, к подножию лесов. А там, за рекой, за Рузой – на другой ее стороне, лесов не произрастало нисколько, там распахнулись в поднебесном пространстве широкие, во все края желтеющие поля, обочь которых то там, то тут притаились маленькие, сказочные с высоты, деревушки. Над рекой, над струящимся ее простором, раскинулся длинный подвесной мост, который не то что от ветра, но даже и от людей, идущих по нему редким бисером, подолгу качался-покачивался, будто был подвешен на резиново-пружинных нитях.

Всякий раз, глядя из окна Тонечкиной комнаты, Евграфов ощущал, как сжималось сердце от этой красоты и воли, и испытывал странное беспокойство, как если бы ему хотелось вдруг покончить с жизнью, броситься головой в омут или вначале воспарить над землей, а затем камнем упасть вниз, разбиться вдребезги.

– Когда, наконец, и я стану стариком?.. – то ли в шутку, то ли всерьез сам себя полуспросил Евграфов.

– Э, не успеешь оглянуться, а старость тут как тут, – махнула рукой Антонина Степановна. – Чего ее торопить?

– Вот состарюсь, Тонечка, все брошу, женщин брошу, картины, семью, работу и поселюсь где-нибудь в этих краях. Грехи замаливать.

– Много их у тебя, грехов-то? – не поверила Антонина Степановна Евграфову.

– А это как посмотреть. Иной раз оглянешься – не жизнь, а черная дыра. В другой раз согласишься – нет, все-таки жил, любил, безумствовал. Впрочем, какая разница... Жизнь – проигранная лотерея. Даже если иногда вытягивал золотой билет.

– Ну, что-то ты совсем закис там, в Москве, голубчик. Уж не случилось ли чего-нибудь?

– Да вроде все нормально. Но что-то тянет вот тут, Тонечка, – показал Евграфов на грудь.

– Видать, переутомился. Беречь надо себя, беречь...

Евграфов начал доставать из корзины гостинцы. Десяток сырых яиц, сыр рокфор (Тонечка обожала его), кусочек свежей грудинки, литровую банку малосольной капусты (с рынка, с рынка, конечно), пачку индийского чая, конфеты-батончики.

– Ой, ну куда мне столько! – замахала руками Антонина Степановна. Всякий раз она ругалась с Евграфовым, но тот не слушался ее, обязательно привозил что-нибудь вкусное, свежее, стараясь не повторяться, и у Антонины Степановны скопился такой запас еды, что она не знала, куда все складывать: холодильник был забит до отказа.

– Ничего, ничего, Тонечка, – весело приговаривал Евграфов. – Смотришь, кусочком грудинки побалуешься, капустной закусишь, чайком с конфетой запьешь... оно и веселей станет, а?!

– Да нас тут кормят на убой... что ты! Ну куда я все это дену?

Так ли, этак ли, но продукты наконец находили себе место, и Евграфов с Антониной Степановной выбирались из Пансионата погулять. Гуляли они всегда подолгу, иной раз час, иной раз больше, в зависимости от того, спешил Евграфов или не очень. Жила Тонечка в Пансионате третий год, души в нем не чаяла, всем сердцем благо даря Евграфова, что когда-то он пристроил ее сюда. Чего греха таить, поначалу она обижалась на Евграфова, плакала, разговаривать с ним не хотела (уломал, уговорил ее поехать из Москвы – из своей-то комнаты! – в Пансионат, пожить, отдохнуть, воздухом свежим подышать, а оказалось – это дом престарелых, тут Антонина Степановна перепугалась насмерть: что это задумал Евграфов? уж не выдворить ли ее хочет из квартиры?), но пожила в лесу, у реки, на свежем воздухе и почувствовала, будто заново родилась. То еле ноги таскала в Москве, давно в могилу собралась, от лекарств передыху не знала, а тут даже о бессоннице забыла, на лыжах – на лыжах! – зимой стала кататься, в семьдесят два года, а летом – каждое утро – потихоньку, помаленьку, но бегала по лесным тенистым дорожкам; и ведь ничего! Да что там ничего, наоборот – такое ощущение однажды пришло, будто жить ей еще долго-долго, так вдруг распрямилась душа, так неожиданно возродилось тело! И, самое главное, даже думать о Москве перестала, поначалу хоть ездила туда иногда, а теперь – как бритвой отрезало: ни за что! В эту гарь, в эту толчею, в эту мясорубку? Ни за что! Единственное, что ее связывало теперь со столицей, – приезды Евграфова, которому она радовалась, как родному сыну. Переживала за него, старалась вникнуть в его дела, заботы, тревоги, хотя, надо сказать, Евграфов особенно не посвящал старушку в свой мир.

Гуляли по лесным тропкам; спускались к реке; переходили на ту сторону Рузы; выходили в поля... Евграфов и сам не заметил, как эти приезды сюда, в вольную вольницу света, воздуха, безлюдья, простора, стали для него необходимостью. Он не просто навещал Тонечку, он полюбил ездить сюда, каждый раз как бы обновляясь здесь душой.

– Как Тося? Что-нибудь пишет? – поинтересовалась Антонина Степановна.

– Нет, ничего.

– Ох, своенравная девчонка!

– Да пускай, – сказал Евграфов. – Побесится, помотается – только польза будет.

– Катя-то что говорит? Переживает небось до сих пор?

– А чего ей говорить? Она особенно со мной не разговаривает... Ну как же – я мерзавец, подлец! Спровадил бедную Антонину Степановну в дом престарелых!

– Не говори так...

– Да это не я, они так думают. Жена меня ненавидит, а Тоська в знак протеста против нашей, как ей кажется, ужасной, невыносимой жизни убежала в тайгу. И черт с ними!

– Ну, зачем ты так, Кант Георгиевич? Ведь это твоя семья.

– Ладно, не буду. Как о семье подумаю, так мне выть хочется! Уж такая Екатерина Марковна правильная, такая идейная, такая справедливая, что, честное слово, Тонечка, в омут хочется.

Да зачем в омут? – улыбнулся Евграфов. – Я лучше к женщинам... Эх, женщины, – вздохнул он, – и понять их нельзя, и ухватить не ухватишь, и в могилу не заберешь.

– Женщины для мужчины – это пустое, – сказала Антонина Степановна.

– Что, что? – удивился Евграфов.

– Если мужчина посвящает жизнь женщине, он остается в конце концов с пустотой.

– Как это ты глубоко задела, Тонечка! – воскликнул Евграфов. – Сразу, пожалуй, и не поймешь.

– Вот возьми жизнь Марка Петровича, отца Кати. Уж кто-кто, а это был безупречный человек, всего себя отдал семье, жене, даже Кате. Работы для него не существовало (хотя он работал ведущим инженером на заводе «Динамо») – только семья. И что же? Однажды он узнает, что Катя, возможно, совсем не его дочь... И все рушится для него в один день. Вся жизнь!

– Как не его дочь?! – поразился Евграфов. – А чья?

– Только это, конечно, между нами, голубчик, а? – Антонина Степановна посмотрела на Евграфова строго и требовательно. – Поклянись!

– Клянусь! – для Евграфова что клясться, что не клясться было все едино – в клятвы он не верил.

– Ты, конечно, знаешь Марка Захаровича, ну, старика такого, из соседнего подъезда? В длиннополом пальто всегда ходит?

– Ну, еще бы. Гроза дома и блюститель нравственности. Мерзавец, по-моему, отменный.

– Так вот, представь себе, Марк Петрович возомнил, что жена его, Мария, спуталась с Марком Захаровичем.

– Ну, это глупости. С таким-то мозгляком, с этой мокрицей?

– В том-то и дело. Ну, что-то там было, конечно, но так, легкое, чисто женское кокетство, серьезного абсолютно ничего. А Марк Петрович взревновал. Его больше всего угнетало, что отчество у дочери – Марковна. Ты понимаешь? Он – Марк, и тот – Марк, и вот это его мучило. Марк Захарович, по совершенно случайному и глупейшему совпадению имен, мог ведь тоже считать себя отцом Екатерины Марковны. Это во мнении, конечно, Марка Петровича. И он закусьивает удила. Устраивает смертельный скандал Марии. Разводится. Но сил уехать от семьи не имеет. Живет в той же квартире. В отдельной комнате, рядом со мной. И очень скоро выссыхает. Ты понимаешь? Женщина для него – все, и когда женщина падает с пьедестала, пусть даже мнимого, он погибает. Для мужчины это невозможно. Для настоящего мужчины, конечно.

– Что же возможно для настоящего мужчины?

– Дело. Мужчина должен творить, созидать, производить. И будет счастлив. А семья – это его тыл.

– Ну, тогда мне крышка, – подытожил Евграфов.

– Ну, тебе-то... о чем ты говоришь, голубчик? Ты имеешь дело с искусством, с картинами, с художниками. Тебе стыдно жаловаться.

– Ни с чем и ни с кем я не имею дела. Я пуст. Пуст я, Тонечка, как консервная банка.

– Стыдись, о чем ты говоришь!

– Ты слишком хорошо ко мне относишься, Тонечка. А я совсем другой человек. Я не то что ни в каком деле смысла не вижу, я даже в семье смысла не нахожу, в дочери не нахожу, а уж в жене – тем более.

– Это ты устал, устал, голубчик. Каждый в свое время переживает подобное. А потом раз – и возродился.

– Ах, ну ладно, Тонечка, что это мы обо мне да обо мне. Как ты-то тут поживаешь? Что новенького? Как здоровье?

Нагулявшись всласть, они вернулись в комнату к Антонине Степановне. В окне ее, за рекой, в далеких полях садилось солнце. Комната пылала розовым свечением.

За чаем, который они всегда пили перед прощанием, Тонечка вновь вспомнила:

– Кант Георгиевич, дорогой, только помни наш уговор: о Марке Захаровиче никому ни слова! В особенности Екатерине Марковне.

– Тонечка, да не беспокойся ты об этом мозгляке. Тем более что неправда все это. Так, одна болтовня, сплетни.

– Ну, хорошо, хорошо... Я тебе верю, голубчик.

После того, как Евграфов уехал, Антонина Степановна немного взгрустнула. Она всегда грустила, когда прощалась с Евграфовым. Привыкла к нему. А может, и больше – полюбила. А может, другое тут было – сострадание, например; впрочем, что именно, она сама не знала. Не будем и мы гадать.

На другой день Евграфов поехал к Жан-Жанне умирать. Он не знал, что умрет, но именно умирать и поехал.

Кстати, к женщинам Евграфов никогда не ездил на своей машине – в гостях приходилось пить, – поэтому брал всегда такси. Такое у него было правило. И к Жан-Жанне, конечно, тоже поехал на такси. С подарками, с шампанским, с цветами, с тортом... Отношения Евграфова с Жан-Жанной с романтических рельсов постепенно сошли на обычные – любовно-деловые, будничные. И тем не менее Евграфова тянуло к Жан-Жанне: чего-то он недопонимал в ней, чувствуя в то же время, что сам он – вот такая странность – ясен ей, как дважды два. В последнее время Евграфов не был уверен в себе, что-то отягощало душу, тянула боль в груди и хотелось, чтобы кто-то пожалел его, вот как жалела иногда Тонечка, но чтобы это была молодая, красивая, цветущая женщина... чтобы это была сама жизнь, что ли.

– На кухне посидим? Или в спальне? – спросила Жан-Жанна.

– Пожалуй, в спальне, – ответил Евграфов.

Пока Жан-Жанна сервировала изящный, инкрустированный столик в спальне (столик был на колесиках, что представляло большое удобство: можно то подкатить его к постели, то откатить подальше), Евграфов, заложив за спину руки, с торжественным и даже несколько таинственным видом ходил по квартире. Квартира была небольшая, но уютная: две комнаты и кухня. В каждой комнате на полу лежало по ковру, так что нога мягко и нежно утопала в глубоком ворсе. Стены в комнатах оклеены немецкими обоями: в большой комнате – золотые амфоры по сочно-малиновому полю, в маленькой, то есть в спальне, – червленые листья клена по голубому небу. Широкая деревянная кровать, инкрустированная, как и столик, в арабском стиле, занимала третью часть спальни; накрыта кровать японским, ослепительной голубизны, покрывалом, на котором разместились для отдыха два аиста все того же червленого золота. Над постелью – «Обнаженная» Ренуара, в богатой резной раме, облитой, как глазурю, густым блистающим лаком. Естественно, «Обнаженная» – подарок Евграфова. В квартире висели еще картины – все те же импрессионисты, подаренные, естественно, Евграфовым. В спальне, например, – «Голубые танцовщицы» Дега, и если все это окинуть единым взглядом: голубые стены, голубое покрывало, «Голубые танцовщицы», два кресла, покрытые японскими, того же небесного цвета, накидками, голубые пуфики, деревянная инкрустированная кровать,

такой же столик, такой же гардероб, – то можно понять, отчего так нравилось Евграфову бывать у Жан-Жанны. Ведь ничего похожего не было в квартире Евграфова, хотя денег водилось у него без счета, – жена Евграфова презирала роскошь.

В большой комнате, кроме хрусталя, статуэток, огромного обеденного стола, окруженного резными арабскими стульями, кроме картины «Гуляние капуцинок» Писсарро, кроме богатого ковра, кроме глубоких мягких кресел, кроме цветного телевизора, кроме японского стереомагнитофона «Сони», кроме тяжелых сборчатых портьер, так вот – кроме всего этого на одной из стен висели книжные полки, в которых, как солдаты дисциплинированного войска, вытянулись во фронт яркие, новенькие, блистающие, разноцветные книги-конфетки. Среди них, конечно, в первую очередь выделялись Дюма и Дрюон, зависть и мечта многих нынешних любителей чтения.

Ну, а то, что на кухне висела знаменитая картина Мане «Завтрак на траве», об этом и говорить не приходится. Как не приходится говорить и о том, что копия Мане – подарок Евграфова. Как не приходится удивляться тому, что вся кухня выдержана в зеленых тонах – райский сад, зеленые пуши, «Завтрак на траве», пение птиц – изумрудных попугайчиков...

– У меня все готово! – объявила Жан-Жанна.

Евграфов поцеловал ее в щеку.

Потом, как всегда, много ели, пили, Жан-Жанна улыбалась, а Евграфов нет-нет да и чувствовал какое-то странное томление в груди. Ему хотелось поговорить с Жан-Жанной о чем-то таком, о чем никогда не говорил с ней прежде, но разговор все время сбивался в привычное, давно отшлифованное русло, и Евграфов иной раз испытывал растерянность.

– Все время хочу представить твоего мужа, – сказал Евграфов.

Жан-Жанна притронулась кончиком языка к своей яркой малиновой родинке, облизнула губы и удивленно вскинула на Евграфова глаза; да, так и было – сначала удивилась, потом рассмеялась:

– Только этого не хватало – чтобы вы встретились.

– Я хочу представить, а не встретиться, – обиженно проговорил Евграфов.

– Может, фотографию показать?

– Я видел.

– Мало этого?

– Что фотография... Мне вообще его представить хочется. Как человека. Кто он? Какой?

О чем думает?

– Ого! – вновь рассмеялась Жан-Жанна. – Надо было об этом раньше мечтать, когда в первый раз меня в постель тащил.

– За что ты его не любишь?

– А за что его любить? Слюнтяй и тряпка.

– Странно, – произнес Евграфов. – Ведь все, что у тебя есть, – это от него? Это он сделал?

– Еще бы! Женился – впрягайся в лямку: корми семью, заботься о жене, и чтобы в доме полная чаша была!

– Так все и есть.

– Так все было! А теперь, видите ли, он задумался о жизни, дурак! Он больше не хочет. Ему надоело. Он устал. О, я знаю, это все штучки его нового дружка! Завелся на мою голову червь. И точит... и точит...

– Что за дружок?

– Да если б я его увидела, я б ему сама глотку перегрызла. Поэт какой-то. Или философ. Словом – шантрапа, потому что не писатель он никакой, а дворник, бросил все: дом, семью, детей, работу, устроился дворником и вот обрабатывает моего дурака: не воруй, не изменяй, не пей, не хапай, не ной...

– Интересно, интересно...

– Да черт бы с ним, с этим сумасшедшим! Так ведь мой-то дурак стал слушаться его. Ты представляешь: бросил мясной отдел. Как прикажешь теперь жить? Может, мне снова на работу устраиваться?

– Так ты же в парикмахерской можешь не меньше зарабатывать, чем он в мясном? Тем более на новом Арбате.

– Могу. Да не хочу! Жена я или не жена? Красивая? Молодая? Любимая? А он – муж или не муж? Вот пусть и вкальвает. Пусть обеспечивает семью. И чтобы по высшему счету! А иначе...

– Ну что – иначе?

– А иначе зачем женился? Видел, на ком женился? Знал мои запросы? Удочерил мою Барбару? Давал теще деньги?..

– Удочерил Барбару? Ты смотри какой.

– Да, удочерил. Да, да! А теперь – в кусты? Теперь – ничего не надо? Теперь – рядовая зарплата продавца? Да если б он не был мясником, я б на него никогда не посмотрела! На черта он мне нужен? Ведь не мужик – слюняй и тряпка!

– А по-моему, хороший он у тебя мужик.

– О, ты его еще позацищай! Сам-то небось деньги лопатой гребешь? Сам-то небось ко мне примчался, а не к какой-нибудь Машке или Дашке? Сам-то небось на машине разъезжаешь? С художниками якшаешься? Об искусстве трелью заливаешься? А мой чтоб дурак – в дыре сидел? В галоше? И чтоб я вместе с ним? Ну нет, не бывать этому!

Позже, конечно, постель примирила их. Жан-Жанна утихла, задремала, а Евграфов лежал, оглушенный непонятной тоской и печалью. И такая это была тоска, такая печаль, что, не будь рядом Жан-Жанны, он бы наверняка разрыдался, да еще так разрыдался, чтобы можно было повыть во весь голос, ох и повыть... и долго-долго выть... как волку... у которого хвост примерз ко льду, а его бьют батогами да коромыслами да приговаривают: не ходил бы ты, волчище, во чужой двор, не ходил бы ты, треклятый, по чужую рыбку!

И надо же – скатилась-таки слеза по щеке Евграфова.

– Жанна, – прошептал он.

Если бы он сказал это в полный голос, она бы не услышала его, а вот так, от шепота его, сразу вздрогнула:

– А? Что?

– Ты не любишь меня?

– О Господи, – недовольно проворчала она. – Нашел о чем спрашивать.

– Знаешь, – сказал Евграфов, – я подумал... я лежу и думаю... это очень странно. Моя жена презирает меня, а ты – презираешь своего мужа. Моей жене не нужны деньги, а тебе наоборот – нужны.

– Тоже мне открытие.

– Да не в этом дело. У меня есть деньги, а у твоего мужа – нет. И все равно вы нас обоих презираете. Странно...

– Ничего странного, – сказала Жан-Жанна и сладко зевнула. Зевнула и так же сладко, гибко, томно потянулась. – Оба вы негодяи. Только один – с деньгами, а другой – без.

– А? – не понял Евграфов.

Он подумал: «Может, я ослышался?»

– Бэ! – с нажимом произнесла Жан-Жанна.

Евграфов изумленно покосился на Жан-Жанну. Он лежал, откинувшись на подушки, лежал тихо-тихо. И с закипающей болью в груди закрыл глаза. Сердце катилось в пустоту.

Жан-Жанна как ни в чем не бывало накинула на себя халат, вышла на кухню. Впервые Евграфов не открыл глаза, не посмотрел, как одевается Жан-Жанна: тело у нее было нежное, молодое, с бархатистой смуглой кожей.

Пока Жан-Жанна заваривала чай с лимоном, Евграфов думал. Он ничего не понимал. И хотел сказать кому-то, пожаловаться, что ничего не понимает. Но сказать было некому.

«А это что? – подумал Евграфов. – Не понимаю... Ах, вон что... нет, нет... не хочу!.. нет!».

И закричал.

– Ты чего тут? – Жан-Жанна вошла в спальню с подносом в руках; на подносе дымились две чашки чая.

Евграфов лежал мертвый.

Врач, который приедет вместе с милицией, будет загадочно повторять:

– Ну вот, еще один типичный случай: «Локус минорис резистенциэ».

– А что это такое?

– Место наименьшего сопротивления. По-латыни: *Locus minoris resistentiae*.

– И что это за место у человека?

– У каждого свое, – скажет врач. – У многих – сердце.

Что происходило с ней, Екатерина Марковна сама не знала. Но чувствовала: с некоторых пор ей не хватает Нуйкина. То есть не то чтобы его самого, а общения с ним, разговора. Хотя что такого особого сказал ей за все время Семен Семенович? Но вот – она ждала. Она надеялась, что он или позвонит ей, или заглянет на огонек, но прошел месяц, второй, наступила зима, а Нуйкин так ни разу и не объявился. Екатерина Марковна затосковала. Казалось бы, тосковать ей некогда, столько хлопот и забот прибавилось с внучкой, но, как ни странно, заботы эти не могли отвлечь ее от глубокой внутренней работы, от напряжения души, от ожидания каких-то светлых, решительных перемен в ее жизни. Но что за перемены могут быть у женщины в ее возрасте?

А Нуйкина все не было и не было, и Екатерина Марковна в один день просто-напросто испугалась: уж не случилось ли чего-нибудь с ним? До этого ей гордость не позволяла заглядывать к Семену Семеновичу в булочную: вдруг подумает, что она нарочно пришла, а тут решила – пойду. Отпросилась на работе пораньше, задолго до того, как надо будет из садика забирать Юлю, и поехала от «Пушкинской» на «Сокол», в булочную.

Первое, что увидела, – Нуйкина за кассой не было. Вместо него сидела дородная женщина, спокойная до флегматичности, до того, что, казалось, вот-вот уснет за кассой, если к ней не подойдет очередной покупатель и не потревожит ее.

– Простите, а где Семен Семенович? – не без смущения спросила Екатерина Марковна.

Кассирша не сразу взглянула на нее. Она сначала как бы выплыла на поверхность из глубокого сонного омута, затем повела глаза в сторону Екатерины Марковны, причем во взгляде ее застыла такая безбрежная маслянистая поволока, что и не верилось, что это человеческие глаза, но все-таки она взглянула на Екатерину Марковну, а вот ответить ничего не ответила.

Екатерина Марковна пожалала плечами: странно...

Она подумала: может, кассирша не поняла вопроса? И только решила повторить его, как женщина наконец подала голос:

– А вы кто ему будете?

– Я? – растерялась Екатерина Марковна, потому что кое-кто в булочной начал поглядывать на нее с любопытством: чего это, мол, нужно ей от кассирши? И хотя ей хотелось ответить: «А вам, собственно, какое дело?» – грубо ответить, она сказала другое, совершенно неожиданное: – Родственница.

Кассирша облила Екатерину Марковну маслянистым сомневающимся взглядом:

– А если родственница, знать должны: Семен Семенович неделю как болен. Стыдно...

«И правда...» – молнией пронеслось в голове Екатерины Марковны; то есть что правда, она сама не знала: что он болен или что ей должно быть стыдно? – но именно так все отозвалось в ней – согласием с кассиршей.

И она вышла из булочной, какое-то время никого и ничего не замечая, просто шла и шла. Но вскоре спохватилась: «Как же так, он болен, а я?..»

Она бросилась по магазинам: покупать соки, яблоки, апельсины, молоко, творог, сыр...

Через полчаса стучала в дверь квартиры, где жил Нуйкин вместе с загадочным Сережей. Никто не ответил. Екатерина Марковна толкнула дверь – она открылась. В комнате стоял полумрак, так что Екатерина Марковна со света поначалу ничего не увидела. Но затем облегченно вздохнула: в углу, на кровати, лежал Семен Семенович. Он спал. Что он спал, было ясно потому, что он никак не реагировал на приход Екатерины Марковны. Продолжал лежать, спокойно, глубоко дыша, выложив руки, как ребенок, поверх одеяла.

Екатерина Марковна на цыпочках прокралась к нему, присела на табуретку. Он спал, а она смотрела на него, склонив голову, и, сама того не замечая, улыбалась. Впервые она заметила, что у Семена Семеновича, несмотря на его залысины, на крупный тяжелый нос, было красивое одухотворенное лицо, которое во сне приобретало выражение значительности и мудрости спокойствия. Как же она никогда раньше не видела этого, не замечала?

Она пошевелилась на табуретке, и Семен Семенович, нахмурив брови, с трудом, медленно открыл глаза.

Он смотрел на нее, она – на него. Улыбаться она перестала, просто смотрела, как мать смотрит на несчастное, заболевшее дитя.

– Вы? – прошептал он.

– Я, – кивнула она.

– Откуда? – спросил он и, кажется, даже встревожился.

– И вам не стыдно? – вместо ответа упрекнула его Екатерина Марковна. – Неделю болеете и ничего не сообщите. Мог бы и ваш Сережа позвонить.

– Его нет. Он в отъезде. – Семен Семенович и в самом деле почувствовал себя виноватым.

– Что с вами? – спросила Екатерина Марковна. – Бедный вы мой, что с вами?

– Так, пустяки. – Нуйкин покраснел от ее неожиданных слов. – Простыл немного. В булочной весь день на сквозняке...

– Я так и решила... Впрочем, что это я, – встрепенулась Екатерина Марковна. – Я тут кое-что принесла. Сейчас приготовлю... Молоко вскипячу. Вам обязательно нужно молоко пить. Горячее. С пенками.

– Ну, зачем вы...

– Все, все, молчите! Я вас и слушать не хочу!

Екатерина Марковна быстро разделась и нырнула со своими сумками в кухню. Выглянула, только когда услышала в комнате шум: Семен Семенович пытался подняться с кровати.

– Ни в коем случае, – испугалась Екатерина Марковна. – Что вы! Вам нужно как можно больше лежать.

– Неудобно перед вами...

– Я вам приказываю! – скомандовала Екатерина Марковна. – Вы слышите? Только лежать. Чем больше покоя, тем быстрее выздоровеете.

Нуйкин не стал больше спорить, сдался.

Минут через десять он сидел на кровати и маленькой ложкой, как ребенок, ел с блюдца творог, обильно политый земляничным джемом. Затем Екатерина Марковна поила его горячим молоком – заставила выпить целую поллитровую банку. Нуйкин вспотел, бусинки пота выступили на лбу и на носу. Он пил молоко с удовольствием, потому что как-то вообще редко покупал молоко, все большей чай да чай. А тут – такое вкусное, свежее, можайское...

Вскоре он с удовлетворением откинулся на подушку. Закрыв глаза. Оттого еще закрыл, что не знал, как вести себя дальше, что говорить, – присутствие Екатерины Марковны смущало его.

– Врач к вам ходит? – поинтересовалась она.

– Да, конечно. – Он открыл глаза. И улыбнулся глазами.

– А я думаю, куда вы пропали? И нет вас, и нет...

– Ну зачем я вас буду беспокоить?

– Меня не хотите видеть – хотя бы на Юльку посмотрели.

– Я ее вспоминал. Правда, вспоминал! – Он разволновался, словно боясь, что Екатерина

Марковна может не поверить ему.

– А меня? – спросила она.

Он не знал, что ответить. Как ответить. Какими словами.

– Меня вспоминали? – Вопрос ее был беспощаден.

– И вас, – признался он.

– Ах, вы знаете, Семен Семенович, – живо, скороговоркой залепетала она, – знаете, Семен Семенович, – но не выдержала, рассмеялась счастливо, покраснела, – я хотела еще спросить у вас... правда, хотела... куда это девался ваш Сережа? Куда уехал? – И так этот вопрос не соответствовал ее радостному смущенному смеху, что Нуйкин не понял, всерьез ли она спрашивает. Темные ее волосы отливали синим густым огнем, черные глаза горели, щеки в румянце, и все лицо ее, вместе с белоснежными в смехе зубами, светилось счастьем самозабвения и любви.

– Он на Урал уехал, – медленно, любуясь лицом Екатерины Марковны, проговорил расстроенный Нуйкин. – Родственников навестить.

– Правда?... – смеялась Екатерина Марковна. – А вы знаете, Семен Семенович, я сейчас, когда шла к вам, увидела неподалеку дворника, с бородой такой, страшный, с лопатой, я испугалась: думаю, неужто это Сережа? Ужасно старый... Хотела спросить о вас, да испугалась. Ой, держите меня! – продолжала она смеяться.

– Нет, это Степаныч, – снисходительно улыбнулся Нуйкин. – Сережа молодой, а это – старик, хороший дед, добрый, в соседнем доме работает.

– Сколько же Сереже лет?

– Сереже? Тридцать три...

– Надо же... знаменитый возраст! – Екатерина Марковна несколько успокоилась, перестала смеяться, но на лице ее продолжала блуждать загадочная (а быть может, умиротворенная) улыбка. – Семен Семенович, ну хоть мне-то вы можете сказать, кто он, этот ваш Сережа? – Сережа? Дворник. Сторож и дворник. Я же вам говорил, – простодушно ответил Нуйкин.

– Ах, Семен Семенович, Семен Семенович, – снова рассмеялась Екатерина Марковна. – Не хотите говорить – не надо. Я не настаиваю. Мне не нужно. Мне просто интересно знать, как вы сами живете, кто вы такой...

– О, если бы не Сережа, я бы так и погиб. Я бы так и думал: живу хорошо, живу правильно. Может, я и мучился бы, но никогда бы не понял, отчего, почему. Вы представьте себе: однажды я обвесил его, я тогда еще в мясном отделе работал, он поманил меня в сторонку и говорит... Но представьте еще и другое: одет он бедно – сапоги, фуфайка, рабочие рукавицы... Кого я замечаю, когда стою за прилавком мясного отдела? Я замечаю меховые шубы, дубленки, каракулевые папахи, лисьи воротники, котиковые шапки, норковые манто... И вдруг – сапоги, фуфайка, рукавицы. Конечно, я давно заметил его, у него особенный взгляд, особенные глаза, но как покупатель он меня не интересовал, и обвешивал я его скорее по инерции, чем нарочно; обвешивать я любил богатых... И вот представьте, он поманил меня в сторонку.

– И что же вы?

– Улыбнулся снисходительно и подошел: ну, чего тебе? А он вдруг, как молитву, стал говорить мне слова... Я до сих пор помню их. Не наизусть, конечно, но почти.

– Что же это за слова? – заинтересовалась Екатерина Марковна.

Семен Семенович прикрыл глаза и медленно, выделяя каждое слово, заговорил:

– *«Позищите между этими людьми и найдите от бедняка до богача такого человека, которому бы хватало того, что он зарабатывает... и вы увидите, что не найдете и одного на тысячу. Всякий бьется изо всех сил, чтобы приобрести то, что не нужно для него... и отсутствие чего составляет его несчастье. И как только он приобретет то, что требуется, от него потребуются еще другое и еще другое, и так без конца идет эта сизифова работа, губящая жизни людей...»»*

– Ведь это Толстой! – воскликнула Екатерина Марковна.

– Я в то время не знал еще, что Толстой. Я, честно говоря, тогда вообще мало что понял из этих слов. Другое важно, меня вдруг пронзил стыд. *Пронзил*, понимаете? Откуда, почему, не знаю, но жгучий стыд возгорелся во мне, и я залился краской, как провинившийся ученик. А он повернулся и ушел.

– Странно...

– С тех пор он начал иногда разговаривать со мной... Остальную мою жизнь вы знаете.

– Семен Семенович, я хотела у вас спросить, – медленно проговорила Екатерина Марковна, – можно, пока вы болеете, я буду заглядывать к вам? Сейчас-то мне уже нужно бежать, – она виновато улыбнулась, показала на часы: – Юльку из садика забирать...

– Да я почти здоров, – бодро сказал Нуйкин. – Что вы будете беспокоиться из-за меня?

– Нет, нет, несколько дней вам не мешает полежать в постели. Что вы, каждый человек должен беречь свое здоровье. Я, если можно, забегу к вам завтра. Часиков в шесть.

– Ну зачем вы...

– Для меня это не обременительно, не думайте! Просто хочется хоть что-то сделать для вас. Вы хороший... Вы сами не знаете, какой вы хороший человек.

– Ну, хороший, – махнул рукой Нуйкин. – Загляните в мое прошлое – там одна грязь, пошлость, обман. Это вы, Екатерина Марковна, славная женщина. Многострадальная и славная. Спасибо вам!

– Так, значит... – смутилась Екатерина Марковна, – завтра я загляну к вам. Хорошо? Не возражаете?

– Хорошо, – согласился наконец Нуйкин.

«Здравствуй, дорогая мамочка!

Наконец решила сообщить тебе свою главную новость. Я вышла замуж. Только, пожалуйста, не плачь, не ругай меня. Все хорошо, я счастлива. Когда была дома, что-то мешало быть с тобой откровенной. Может, обида на тебя из-за папы. Может, собственная моя вина перед тобой из-за Юльки. (Господи, как я соскучилась по ней, если бы ты знала! Как хоть она? Не болеет? Не забыла меня еще? Пишу, и слезы капают на бумагу...) Теперь могу открыться тебе: мой муж – наш бригадир, ему двадцать семь лет, зовут его Егор Новиков. Егорушка... Весной мы приедем в Москву и, не обижайся, мама, заберем Юльку с собой. Остальное напишу в другой раз – тороплюсь, уходим из поселка в зимовье. Целую тебя и Юльку тысячу раз. *Тося*.

P.S. Мамочка, одна к тебе просьба. Когда приедем в Москву, не расспрашивай Егора о его жизни. У него была жена и дочь, они трагически погибли в автомобильной катастрофе, когда добирались к нему в тайгу. Но это – только между нами. Надеюсь, ты поймешь, ты ведь у меня умница.

Тося».

К середине марта снег на улицах Москвы растаял почти весь, и Семен Семенович уже без всякой боязни ездил по городу на «Жигулях». Когда лежал снег и стояли морозы, Семен Семенович ездить не решался – опыт был небольшой. А теперь садился за руль довольно смело. Да и то сказать: ездить особенно было некуда – ну, отвезти Екатерину Марковну на работу, ну, забрать ее домой, по пути можно захватить Юльку, что еще? Пожалуй, все. Не поедешь же на «Жигулях» в булочную, которая находится в десяти минутах ходьбы от дома? Семен Семенович сначала сопротивлялся, не хотел и слышать о машине, но Екатерина Марковна настояла на своем, убила Нуйкина: почему «Жигули» должны пропадать? Неужто будет лучше, если машина просто-напросто сгниет в гараже? Довод был разумный, и Семен Семенович в конце концов сдался.

Привык Семен Семенович и к тому, что его гараж находился рядом с гаражом художника Хмуруженкова. Удивительного тут ничего не было, ведь Евграфов дружил с Хмуруженковым, жили они рядом и, естественно, когда надумали строить гаражи, поставили их не только бок о бок, но и используя одну стену как общую. Неужто неразумно? Конечно, разумно. И Семену Семеновичу не оставалось ничего другого, кроме как привыкнуть к этому. Трудней было привыкнуть к другому: не к тому, что приходилось здороваться с Хмуруженковым, и не к тому, что Хмуруженков относился к нему довольно дружески, и даже не к тому, что однажды Хмуруженков вполне серьезно предложил Нуйкину написать его портрет: лицо, мол, у вас колоритное, что-то такое типично московское, неуловимое, – нет, не к этому; а к тому, что в машине Хмуруженкова, в бордовом его «Москвиче», частенько сидела невинно улыбающаяся, веселая и наглая Жан-Жанна. Конечно, Нуйкин давно знал, что после смерти Евграфова очередным любовником Жан-Жанны стал художник Хмуруженков; когда еще Нуйкин продолжал жить с Жан-Жанной в одной квартире, ожидая, как манна небесная, развода, она, уже не стесняясь, приглашала в дом Хмуруженкова. Мрачный, ядовитый на слово, вспыльчивый Хмуруженков помыкал Жан-Жанной, вслух называл ее «дурой», «растением», что, впрочем, не мешало ему спать с ней. И кто мог знать, что пути-дороги Нуйкина и Хмуруженкова вновь пересекутся, но теперь уже на новом витке: гаражи их соединит общая стена. Однажды Хмуруженков даже упрекнет Семена Семеновича:

– И где это вы откопали такую дуру? – имея в виду, конечно, Жан-Жанну.

Он как будто обвинял еще Нуйкина, что ему досталась такая любовница. Нуйкин потрясенно взглянул тогда на Хмуруженкова, но ничего не ответил.

Впрочем, ему что-то нравилось в Хмуруженкове. Может быть, то, что художник открыто помыкал Жан-Жанной.

... Как-то раздался телефонный звонок, и тонкий девичий голос спросил:

– Кант Георгиевич?

– Нет, это не Кант Георгиевич, – ответил Нуйкин.

– Передайте вашему Канту, что он наглый обманщик.

– Простите, девушка, но... – замялся Нуйкин.

– Он подарил мне картину, сказал, что сам нарисовал ее. А это «Обнаженная» Ренуара. Я недавно видела репродукцию в «Огоньке».

– Ах да, да, понимаю, – сочувственно проговорил Нуйкин, напряженно думая, сказать или не сказать девушке о смерти Евграфова.

– Что вы понимаете! – гневно закричала девушка. – Меня из-за этой картины муж избил, а вы – «да, да, понимаю...» Я из-за этой картины войну выдержала, чуть до развода не дошло, а вы – «да, да, понимаю...» Какие вы все обманщики, мужчины! А еще говорил мне: «Хотите, я нарисую ваш портрет? Вон в том лесочке? На фоне вековой ели?» Как же вам всем не стыдно?! – И, будто плюнув в Нуйкина, бросила трубку.

Позже раздался еще один любопытный звонок. В тот вечер в гости к ним пришел Сережа, Юлька уже спала, сидели за столом, пили чай. Не очень часто, но Сережа заглядывал к ним,

любил поговорить с Екатериной Марковной о литературе, а с Семеном Семеновичем – о жизни. Екатерина Марковна так и не могла разобраться, что за человек Сережа, откуда он такой взялся, и, так как Сережа постоянно уходил от расспросов в сторону, она со временем перестала докучать Сереже. Воспринимала его таким, каков он есть. Когда надо будет, все само по себе встанет на свои места. Так она решила.

И вот сидели, пили чай, говорили о литературе, и тут зазвонил телефон. Екатерина Марковна вышла в коридор, сняла трубку.

– Квартира Евграфовых?

– Да, да, – ответила Екатерина Марковна.

– Можно пригласить Канта Георгиевича?

– Простите, а кто его спрашивает? Я его жена.

– Это главврач Пансионата. У нас находится Антонина Степановна Юдина, она в тяжелом состоянии. Очень просит приехать Канта Георгиевича... как бы это вам сказать помягче... попрощаться.

– Простите, – опешила Екатерина Марковна, – но разве Антонина Степановна жива?

– Как то есть жива? – в свою очередь удивилась главврач. – Конечно, жива. Но с тех пор, как Кант Георгиевич перестал к ней приезжать, Антонина Степановна очень сдала.

– Что-то я не понимаю... – пробормотала Екатерина Марковна. – Разве Кант Георгиевич приезжал к ней?

– Да, каждую неделю. Точней – каждое воскресенье. И вдруг как отрезало... Старушка сильно переживает. Однако она гордая, все носит в себе. И вот только теперь... когда у нее кризисное состояние...

– Странно. Он никогда ничего не говорил мне...

– Так можете вы передать Канту Георгиевичу просьбу Антонины Степановны приехать к ней?

– Но дело в том, видите ли... – Екатерина Марковна не знала, что и говорить. – Может, я сама могу подъехать? Мы с Антониной Степановной были в очень хороших отношениях.

– Нет, она просит приехать именно Канта Георгиевича. Для нее это очень важно, поймите!

– Понимаю... Да, да, понимаю... Но вы знаете, все дело в том, что Кант Георгиевич... умер.

– Как умер? – не столько изумилась, сколько не поверила главврач.

– Да, умер. От сердечного приступа.

– Господи! – воскликнула главврач, – да что же это за напасть такая: чем лучше люди, тем быстрее они умирают?!

– Простите? – не поняла Екатерина Марковна.

– Ваш муж был прекрасный человек. Добрый, веселый, внимательный. Что я скажу теперь Антонине Степановне? Ведь это подкосит ее окончательно. Он был ей вместо сына.

– Да, да... – ничего не понимая, лепетала Екатерина Марковна. – Не знаю, право, что и делать... Может, в самом деле, я могу приехать? Почему бы и нет?

– А, пожалуй, это идея, – воодушевилась главврач, – пожалуй, и в самом деле будет неплохо, если приедете вы. Тем более, вы говорите, с Антониной Степановной у вас хорошие отношения?

– Да, да, всегда были отличные отношения.

– Только у меня к вам просьба: не говорите старушке, что Канта Георгиевича нет в живых.

Ну, сокройте что-нибудь... длительная командировка... Зарубежное путешествие...

– Конечно, конечно. Зачем же... обязательно.

– Ну, спасибо вам! Вы замечательная женщина. Так мы вас ждем завтра?

– Да, завтра. Обязательно. Не сомневайтесь.

Когда Екатерина Марковна вернулась на кухню, на ней лица не было.

– Что с тобой? – встревожился Семен Семенович. – Что случилось? – Он подхватил ее под руку, посадил на стул.

Некоторое время Екатерина Марковна молчала, не в силах вымолвить и слова. Семен Семенович озабоченно переглянулся с Сережей.

– Что-нибудь с Тосей? – предположил Нуйкин.

– С Тосей? Нет, нет, другое... – медленно проговорила Екатерина Марковна.

– Но что другое может так разволновать тебя? Что-нибудь на работе?

– Нет, – помотала она головой. – Семен, – сказала она твердо, – завтра мы едем с тобой в Пансионат.

– В Пансионат? В какой Пансионат?

– К Антонине Степановне. Завтра с утра.

– Поедем, – согласился Нуйкин, хотя мало что понял. Он помнил: Антонина Степановна – бывшая соседка Евграфовых. Но, насколько он знал, она умерла.

– В Пансионат? На кладбище? – на всякий случай спросил он.

– На какое кладбище?! – раздраженно проговорила Екатерина Марковна. – Антонина Степановна жива.

– Но ты сама говорила...

– Да, говорила. Да, считала, она мертвая. Но оказалось, она жива. Больше того – Евграфов все время ездил к ней. Я всегда думала, что он выжил ее из квартиры. Что он загнал ее в гроб. И вдруг такая тарбарщина...

– Да, ваш Евграфов, – вставил слово Сережа, – любопытный орешек.

– Любопытный?! – полыхнула гневом Екатерина Марковна.

– Любопытный в том смысле, – пояснил Сережа, – что всегда может выкинуть что-нибудь неожиданное.

– Да вы-то откуда знаете?!

– Вы сами рассказывали.

– Так уж много я вам рассказывала! – Екатерина Марковна впервые, пожалуй, разговаривала с Сережей так резко, если не грубо. Да и с Семеном Семеновичем никогда не говорила с таким раздражением.

– Кстати, у меня к вам маленькая просьба, – улыбнулся Сережа. – А то вдруг вы вконец на меня рассердитесь и выгоните из дома.

Екатерина Марковна взглянула на Сережу внимательно, напряженно. И вдруг подумала: «Господи, ну они-то тут при чем? При чем Сережа? Семен Семенович? Разве они виноваты в чем-нибудь? Что это я на них? За что? Вот глупая баба... дура... ведь жалеть буду потом, каяться».

Сережа не улыбался теперь, смотрел на Екатерину Марковну тоже серьезно, внимательно.

– Простите, – виновато проговорила Екатерина Марковна, – простите, Сережа. И ты, Семен, прости. Это у меня что-то с нервами.

– Ну, что вы, о чем вы говорите, – сказал Сережа. – Все совершенно понятно, и нам не за что обижаться на вас. Правда, Семен?

– Правда, – кивнул Нуйкин.

– А просьба у меня к вам такая. Только не сочтите ее за грубость... Помните, вы однажды рассказывали мне, что ваш муж оставил конверт, на котором написано: «На случай моей смерти – распечатать». Вы его распечатали?

– Да, распечатали. – Екатерина Марковна переглянулась с Семеном Семеновичем.

– Что вы переглядываетесь? Я что-нибудь не так сказал?

– Нет, нет, ничего, – проговорила Екатерина Марковна.

– Если нельзя – то нельзя. А если можно – то не скажете ли, что он написал там?

– Да вам-то зачем?

– Мне нужно. Но если нельзя – я не настаиваю.

– Да ничего там нет. Так, глупости какие-то...

– Неужто ничего? Совсем ничего?

– Ничего.

– Не понимаю, – пожал плечами Сережа.

– А, да что тут понимать! – махнула рукой Екатерина Марковна. – Семен, покажи Сереже конверт.

– Катя, стоит ли? – смутился Нуйкин.

– Раз просит – покажи. Пусть убедится, каким был Евграфов. – Семен Семенович вышел из кухни, через минуту принес конверт: «Вот».

Сережа достал изнутри листок; листок был сложен вдвое. Сергей осторожно развернул его – там не было ни слова. Но зато был нарисован огромный, красочный, симпатичный кукиш.

– Ну, что там? – усмехнулась Екатерина Марковна.

И Сережа удивленно, в раздумье ответил:

– Кукиш...

Вариации на тему любви

I

На Урале, в поселке Северный, на улице Миклухо-Маклая, произошло невероятное событие: Дуся Комарова зарезала мужа. Дело было так: Коляй вернулся домой, Дуся сидит за столом с двумя мужчинами. Одного, естественно, Коляй хорошо знал – это был их участковый, старшина милиции Павлуша Востриков, второго Коляй видел впервые. По случаю полочки Коляй был навеселе и мог бы, конечно, присоединиться к компании, но иногда его захлестывала ревность, тем более что основания для нее Дуся Комарова порой давала. Вот почему Коляй с порога завелся:

– Я сегодня в гости приглашал кого-нибудь или нет? – Ревность Коляя распространялась не столько на Павлушу Вострикова, сколько на незнакомого мужчину: тот был хорош собой, крупный, бородатый, с ясными глазами, с доброй улыбкой.

– Ты чего это? – напустилась на Коляя жена.

– Я не тебя спрашиваю. Я спрашиваю Павла Ивановича. Я приглашал вас сегодня в гости, Павел Иванович, или нет?

– Да ты садись сначала, – добродушно показал на стул Павлуша Востриков. – Сейчас разберемся...

– Так вот, в гости я вас сегодня не приглашал, – заключил Коляй. – А поскольку я сегодня выпил, то, как хозяин, не хочу, чтобы посторонние люди видели меня в собственном доме в нетрезвом виде.

– Ты смотри у меня, хозяин! – прикрикнула Дуся.

– Я ясно выразился или не очень? – гнул свою линию Коляй.

Павлуша Востриков переглянулся с незнакомым мужчиной. Зашли они не совсем просто так: Павлуша Востриков, если положить руку на сердце, хотел показать приятелю Дусю – во-первых, красавицу, во-вторых, красавицу, с которой в молодости водил амуры, в-третьих, почему бы не посидеть за хлебосольным столом, тем более и хозяин вот-вот должен вернуться с работы? А к нему у них было небольшое дело.

И вот – вернулся.

– Значит, выгоняешь? – набычился Павлуша Востриков.

– Выгонять – не выгоняю, а в гости сегодня я никого не приглашал. Или, может, за мной что темное водится? И вот вы пожаловали по мою душу?

– Нет, темного за тобой пока ничего не водится, – с угрозой в голосе, но и с обидой одновременно произнес старшина. Он особенно выделил вот это слово – «пока». – Пошли, Степаныч!

– Павел, Илья Степанович, куда вы? – заметалась Дуся Комарова. – Господи, нашли, кого слушать! Да я ему!.. – Она так сверкнула глазами в сторону Коляя, что в другой момент он наверняка поджал бы хвост. В другой – но не в этот. Коляю всегда хотелось одержать верх над Павлушей Востриковым, потому что Павлуша – власть, а Коляй – ничто, зато у Коляя есть красавица жена, Дуся, а у Павлуши – шиш с маслом. Так что в намерении сегодняшнем выставить Павлушу из собственного дома Коляй был тверд.

– Пошли! – Павлуша Востриков резко поднялся с табуретки, надел фуражку с околышем и, ни на кого не глядя, направился к выходу.

– Ну, бывайте здоровы, хозяева! – Тот, которого называли Степанычем, тоже поднялся из-за стола, добродушно улыбнулся – усмехнулся и пошел следом за Павлушей Востриковым.

– Илья Степанович! Павел, ну ты-то! – пыталась еще остановить их Дуся Комарова.

– Идите, идите, не кашляйте! – вслед им торжественно-воинственно проговорил Коляй. – Да чтоб без хозяина в дом больше не шастали!

И когда гости вышли, в доме, естественно, воцарилась мертвая тишина. Тишина эта больше всего и насторожила Коляя.

– Вот так-то! – решительно, будто вбивая гвоздь по самую шляпку, крикнул Коляй.

Лучше бы, наверное, он совсем ничего не говорил, потому что после его слов Дуся взвилась как ненормальная.

– Ты это что тут раскомандовался? Ты что это себе позволяешь? Люди пришли как люди, посидеть, поговорить, а ты, как пес шелудивый, с рычаньем на них? Позорить меня вздумал?! Налил шары бесстыжие – и на людей бросаться?! Да я тебе...

– Молчать! – вдруг истошно, непохожим на себя голосом взвизгнул Коляй.

– Что-о?.. – Дуся поднялась в своем крике на одну ноту выше. – Что ты сказал? Ну-ка, повтори!.. – Уперев руки в крутые бедра, Дуся с грозной усмешкой пошла на мужа.

– Молчать, потаскуха! – Коляй в неистовстве затопал ногами.

– Это я – потаскуха?! Я, Дуся Комарова, мать твоих детей, – потаскуха?! Я, которая день и ночь колотится по дому, которая света белого не видит, чтоб вас, засранцев, обстирать, накормить и чистыми спать уложить, я – потаскуха?! Я, которая себя не помнит, я, которая всю себя положила, чтобы вам... да я... и это я – потаскуха?!

– Ты, ты потаскуха! – Коляй и не думал отступать. – Мало в девках гуляла, мало мужиков через себя пропустила, так еще и теперь с Пашкой шашни заводишь? Думаешь, не знаю про ваши амуры? Думаешь, не понимаю, чего он к нам шастает? Мало – сам ходит, так еще одного кобеля за собой тащит? Жить тошно, на вас глядячи, бесстыжие вы рожи!.. Стерва ты, стерва, потаскуха, сучка подколесная!..

Тут Дуся будто споткнулась, остановила свой шаг, опустила руки с бедер, зашарила ими по фартуку, словно ища чего-то, но, не найдя, стала оглядываться заполошным взглядом по сторонам. И тут она увидела нож. Метнувшись как кошка к столу, за которым только что сидели гости и сидела она сама, на котором еще дымилась картошка, сахаристо поблескивали четырехгранники нарезанных помидор, стояли недопитые стопки, Дуся схватила огромный, острый как бритва нож и с отчаянным воплем бросилась на мужа.

Этого, пожалуй, он не ожидал. Дуся, конечно, всегда отличалась горячностью, диким норовом, безрассудством, за что ее и любили мужики, за что когда-то полюбил ее и Коляй, но чтобы броситься на мужа с огромным кухонным ножом – этого Коляй не ожидал. Что и сыграло решающую роль. Не готовый к отпору, Коляй не удержался на ногах (Дуся налетела на него как ветер) и опрокинулся навзничь, на спину. Дуся навалилась на мужа.

– Ах, так я потаскуха!? Я стерва!? Я сучка подколесная!? – И пыталась полоснуть ножом по горлу.

Сопротивляясь, Коляй хватался обеими руками, голыми ладонями за лезвие ножа, не чувствуя и не обращая внимания, как боль обжигает пальцы, из которых ручьями текла кровь; но руки – ерунда, хуже другое – Дуся сумела-таки полоснуть по горлу, и из глубоко надрезанной артерии Коляя трубой повалила кровь. Глаза Коляя подернулись поволокой, он медленно разжал руки, захрипел, хотел сказать что-то, но, видно, не мог, и Дуся наконец осознала, что наделала, вытаращила в ужасе глаза и закричала истошным криком.

Этот-то крик и услышали Павлуша Востриков со Степанычем – от дома они отошли всего ничего – и бросились к Комаровым. Павлуша как профессионал ворвался в дом первым: на полу, залитый кровью, лежал Коляй, над ним на коленях, с ножом в руке, с безумно расширенными зрачками, стояла Дуся.

Коляй был мертв. Хотя и лежал с открытыми, молодыми, удивленными глазами.

До суда Дусе Комаровой разрешили жить дома.

Каждый день, повязавшись черным платком, прихватив с собой узелок, Дуся отправлялась на кладбище. Она ходила туда одна, детей с собой не брала (слава Богу, в день убийства дети были не дома – у бабушки). К тому же Дуняшка, тринадцатилетняя дочь, перестала разговаривать с матерью, кусала губы и отворачивалась, о чем бы и что бы ни просила Дуся; Гошка, пятилеток, никак не мог взять в толк, что отца нет, что он умер, умер насовсем, и хуже того – его убила сама мать; он то тарачил на всех глаза, то хныкал: «Я хочу к папке... я к папке хочу...» – и никто ничего не мог сказать ему утешительного, кроме: «Ничего, брат Гошка, ничего, крепись... глядишь, вырастешь – папку заменишь, поймешь тогда жизнь, ох поймешь...»

Дуся приходила на кладбище, снимала с головы платок, ветер подхватывал ее красивые, ставшие, быть может, еще более красивыми – от густо охватившей седины, – волосы, садилась в ногах Коляя, развязывала узелок, посыпала по всей могиле пшена, хлебных крошек, ломаного печенья, дешевой карамели или конфет-горошка. В этом году Коляю исполнилось тридцать семь лет, но с фотографии он смотрел совсем молодой, просто не было других фотографий, и дело не только в том, что на фотографии Коляй выглядел молодым, дело в другом – он казался каким-то чужим, отдаленным, непривычным. Никак не могла Дуся вспомнить его таким, вот недавнего, прошлогоднего, позапрошлогоднего, помнила: добрый, тихий, слова громкого не скажет. Разве если приревнует... И Дуся плакала. Конечно, если б знать, что так все обернется, разве б давала она повод Коляю ревновать... Она смолоду зацвела яркой девкой, бесшабашной, отчаянной, парни так и вились вокруг нее, сначала – парни, потом – мужики, да серьезного-то ничего не было, ну, разве три-четыре случая, тот же Пашка Востриков или залетный моряк Роман Слепнев, а так больше никого, особенно когда дети пошли – Дуняшка, Гошенька... Дуся сидела на могиле и, плача, не столько жаловалась, сколько, казалось, спорила с Коляем: нет ее вины в случившемся... «Хотя как же нет, как же нет! – причитала она и с новой силой заливалась слезами. – Ведь собственными руками – вот этими, вот! – тут она с отчаянием, до боли, до крови кусала свои ладони, – зарезала его, отправила на тот свет, горемычного моего... единственного... кормильца единственного...»

И так каждый день сидела Дуся Комарова на могиле мужа и изводила себя слезами.

Когда схоронили Коляя, Дуся посадила напротив себя Дуняшку, которая прятала глаза от материнского растерзанного взгляда, и хриплым голосом (от постоянного надсадного плача) наказала дочери:

– Дуняша, посадят меня, так ты забери Гошику, и идите жить к Марусе. Я с ней договорила...

«Как же, пойду... разбежалась...» – думала тринадцатилетняя Дуняшка, а вслух ничего не говорила, отворачивалась от матери.

– Слышишь мать-то? Нет? – продолжала Дуся. – У Маруси пока подрастете, а там и я вернусь. Мне долго сидеть нельзя, мне вас на ноги поднимать надо...

«Ага, нас поднимать... Папку зарезала, теперь про нас вспомнила... И к Маруське твоей не пойду, к бабушке убежим!»

Родная сестра Дуси – Мария – жила на соседней улице; Коляя она не признавала, ругала и Дусю, что вышла за такого пентюха замуж. Не особо привечала Коляя и мать Дуси с Марусей – Варвара Карповна, но той давно не было в живых, а Маруся была жива, ох, да еще как жива была, любила сытно поесть, красиво нарядиться да позубоскалить над людьми: эти не такие, те не этикие, третьи и вовсе обухом по голове пристукнутые...

– А в школу Гошик пойдет, так ты смотри – помогай ему, – наставляла Дуняшку мать. – Счету научи. Чтоб он дураком-то у нас не рос...

«Ничего, не вырастет, – обиженно-горячо думала Дуняшка. – Это Маруська твоя до десяти считает да в сарафаны наряжается, а Гоша умный будет, он вон кошек любит, собак, он у бабушки щенка не утопит...»

Мать Коляя, бабушка Таня, жила в деревне Красная Горка, в шести километрах от поселка Северный: жила одна, в старом, но довольно крепком еще доме. Каждое лето Коляя что-нибудь да делал для матери: то изгородь починит, то крыльцо обновит, то крышу подлатает, то печку-грубку прочистит. Ни Маруся, ни Дуся, ни Варвара Карповна, когда еще была жива, не любили бабушку Таню, та платила им тем же, но с одной разницей: зла им не желала и в жизнь их не вмешивалась. Бабушка Таня жила не только одиноко, но скудно, бедно, на отшибе, а Маруся знай языком молола: «У, старая ведьма, на золоте спит, золотом ублажается, а все дурочкой прикидывается. Был бы Коляя не пентюх, давно б свою мать растряс, так не то что Дуська, а и мы все в деньгах купались бы!..»

Ходило поверье, будто отец Коляя, дед Ефим, перед смертью отдал три золотых слитка жене, при этом сказал: «Запомни, кто видел – молчок, кто слышал – молчок». В Красной Горке то там, то тут до наших дней вдруг обнаруживались заброшенные демидовские шахты и прииски; и вот будто бы дед Ефим нашел однажды золото, нашел да умер, а золото отдал жене, бабке Татьяне. Маруся так не любила старуху, что однажды со зла утопила в бочке ее щенка, Антошку. Об этом знали в поселке многие; знала, конечно, и Дуняшка.

– А вернусь, – продолжала Дуся для дочери, – сразу на ферму пойду дояркой, ты тоже подрастешь, небось на шее сидеть не станешь, заживем не хуже прежнего...

«А папка в земле будет лежать, – закипая внутренними слезами, думала Дуняшка. – Как же, зажили не хуже прежнего... Е[ебось сколько папка зарабатывал, никогда не заработаем. А жить надо. Вон Гошка еще совсем под стол ходит...»

Кончился разговор с дочерью тем, что мать чуть не влепила ей оплеуху. Но вовремя одумалась. Уже когда замахивалась, Дуняшка вдруг подняла на мать глаза, посмотрела прямо в сердце зрачков, смело, отчаянно, и Дуся не решилась: будто парализовала ее какая-то властная сила.

– Смотри у меня! – только и пригрозила Дуся. – Чтоб все сделала, как сказала. Без фокусов!

Для Дуси, конечно, не было секрета, что Дуняшка не любила Марусю, а всей душой тянулась к бабушке Тане. На похоронах старуха ничего не сказала Дусе, ни словом, ни полсловом не попрекнула, а только когда закопали Коляя, старуха обняла Дуняшку, прижала к себе и вздохнула: «Коляя, Коляя... жил – не думал головой, помер – вовсе теперь думать не придется. А у тебя вон Дуняшка, Гошик... на кого их оставил?» Будто обвиняла Коляя, что он умер. Или как было понимать ее слова?

По вечерам, накормив детей и уложив их спать, Дуся Комарова подолгу сидела на высокой супружеской кровати, не решаясь расстелить ее, не решаясь разрушить грандиозную крепость из шести, мал мала меньше, подушек. Для кого теперь эта кровать? Эти подушки? Эти ночи? Как вообще свыкнуться с мыслью, что больше никогда не будет Коляя в жизни? Никогда. По лицу Дуси текли слезы. Руки плетями свисали на подол платья. Волосы, красивые, черные в проседь волосы, растрепаны. Дуся не то что похудела, она иссохла. Когда-то мощные ее плечи опали, из-под выреза платья злобно торчали ключицы; бедра, недавно круглые, крепкие, казались теперь нелепыми, уродливыми – широкая кость осталась, а упругость, налитость исчезли как дым. Пышная грудь, когда-то такая же воинственная, как и характер хозяйки, неожиданно обвисла, ни один лифчик теперь не мог справиться с ней. Чего Дуся добивалась в жизни? Чего хотела? Из-за чего все годы воевала с Коляем?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.